

Олег Мамонтов

Лекарства для слабых душ

16+

Олег Мамонтов
Лекарства для слабых душ

«Автор»

2018

Мамонтов О. Н.

Лекарства для слабых душ / О. Н. Мамонтов — «Автор», 2018

В романе на примере судеб нескольких жителей областного центра Ордатова рассказывается о переломном для страны времени – 90-х годах, когда многие наши соотечественники мучительно искали своё место в изменившейся жизни и переживали духовный кризис. Кто-то из героев "сломался" и совершил преступление, а другие через муки нашли себя и обрели душевное спокойствие.

© Мамонтов О. Н., 2018

© Автор, 2018

Олег Мамонтов

Лекарства для слабых душ

1

Ни за что, никому Анжела не могла открыть, почему хотела умереть. Не могла же она сказать, что чувствовала себя никчёмной неудачницей, воплощением позорного провала! Чуть ли не с младенчества её приучали к мысли о том, что она будет такой же красивой и удачливой, как её мать. Этого от неё ждали родители, к этому обязывало её имя, такое для всех непривычное, нежное и звучное. Вот почему её попытка умереть была отнюдь не внезапным порывом. К этому решению она пришла после долгих раздумий, всё взвесив и убедив себя в том, что для неё нет места в жизни, что среди людей она обречена на жалкое прозябание. И даже выразила свою мысль в стихах:

Ухожу далеко.

Не печалься, мой друг.

Уж легко ль, не легко,

Мне решать недосуг.

Знаю только одно:

Нет иного пути.

Сотри в прошлом пятно.

И навеки прости.

Друга у Анжелы не было, но имелась подруга, одноклассница Света. Ей Анжела и показала листок со стихотворением. Света изумлённо расширила глаза и вскинула брови, ожидая объяснений. Анжела и подруге не сказала правду, слишком неприглядную, некрасивую: о том, что желает умереть, считая себя в жизни полным нулем. Она придумала историю о своей любви к однокласснику Юре Брагину, красивому, рослому парню, который будто бы два раза проводил её из школы домой и даже держал за руку, а потом вдруг перестал замечать – «изменил». Вот из-за отвергнутой, обманутой любви она и умрёт. Но только об этом надо молчать, чтобы для любимого не было неприятностей от окружающих. Пусть лишь совесть его помучит. И Анжела взяла у Светы страшную клятву в том, что та не проговорится. Подруга была поражена и очарована значительностью происходящего и обещала молчать.

Серьёзных попыток отговорить Анжелу Света не делала. С откровенностью, какая бывает между близкими подругами, девочки без лишних слов признали как очевидное и само собою разумеющееся то, что ни Юра Брагин, ни вообще какой-то иной молодой человек не может полюбить бедную дурнушку. А если так, то какой смысл жить? Для Анжелы после этого не стало пути к отступлению: ведь отныне за объявленной заранее развязкой коротенькой истории её несчастной жизни будет наблюдать зритель, которого стыдно обмануть.

Ей было жалко только свою мать. Не приходилось сомневаться в том, что гибель дочери окажется для Мирры Чермных страшным ударом. Анжела сладко плакала, представляя себе горе матери. Но все же она была уверена в том, что мать поймёт её, простит и в глубине души даже одобрит. Разве не докажет она ценой своей гибели, что была достойной, истинной дочерью своей матери, предпочтя добровольную смерть бесцветному прозябанию? Анжеле часто казалось, что мать с любовью и жалостью узнаёт в ней свое второе «я», свою пусть неудачную, изломанную, но все же копию. Ей запомнились те пытливые, печальные взгляды, которые мать порой бросала на неё, что-то распознавая в ней. Подобно матери, Анжеле всегда претила посредственность во всём, ей хотелось добиться чего-то исключительного. Вот только природные данные для этого у неё были несравненно хуже материнских.

Анжела хорошо запомнила услышанное однажды от одноклассниц: злые девчонки говорили в её присутствии громко, явно для её ушей, о том, что иные некрасивые девочки носят необычные имена, которые подошли бы иноземным принцессам, а им следовало бы именоваться попроще, Варварами или Прасковьями, что более соответствовало бы их внешности. Но как раз нежное, нездешнее имя Анжела очень подошло бы матери в молодости. Мирра Чермных, нарекая свое дитя экзотическим именем, мечтала о том, что дочка её будет такой же красивой, как она сама. А если эта мечта не осуществилась, стоит ли Анжеле жить неудачницей?

Конечно, никакой обманутой любви с Юрой Брагиным у нее не было. Но любовь к Юре была. Тем горестнее, острее была обида, которую Юра нанёс ей как бы невзначай, по молодецкому легкомыслию, в соответствии с поговоркой о том, что русский человек ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. «Ах, глупый, жестокий мальчишка», – часто шептала она по ночам, роняя на подушку обильные, тёплые слезы. – «Ты обратил на меня внимание только однажды, мимоходом, да и то лишь для того, чтобы обидеть. А ведь никто не любит тебя так же сильно, как я!»

Юра осудил её на смерть на школьной новогодней вечеринке. Подруга Света затащила ее туда почти насильно, не танцевать – просто посидеть, посмотреть. Там, глотнув вместе с приятелями пронесённого контрабандой дешёвого портвейна, Юра затеял в своей компании (но так, чтобы слышно было всем в зале) глубокомысленный разговор о предстоящей жизни:

– Вы знаете, что нас ждёт? О таких, как мы, поэт сказал уже давным-давно: «Праздник жизни, молодые годы, я убил под тяжестью труда». Сколько возможностей сейчас открыто – но только для тех, у кого есть деньги. Хотя счастье, конечно, не только в деньгах. Вот у неё отец «новый русский», – Юра бросил на Анжелу, стоявшую в пяти шагах от него, недобрый взгляд, заметно потяжелевший от спиртного. – А что ей радости от этого? Проживёт всю жизнь унылой монашкой...

Тогда Анжела чуть не разрыдалась прилюдно, едва-едва сдержалась, прикусив до крови губу, и поспешно ушла, чтобы вволю выплакать своё горе дома. «Унылая монашка!» И это сказал о ней тот, кто был ей милее всех на свете! Эти слова прозвучали как настоящий приговор, перечеркнув не только её будущее, но и нынешнее серенькое прозябание. Где теперь взять силы, чтобы зачем-то томиться над учебниками, ходить в школу, заботиться о своей внешности, изо дня в день пить горькую чашу тягот и обид?

В недрах платяного шкафа, в коробке из-под духов уже давно дожидались своего часа таблетки нембутала, похищенные у матери. Проплакав весь вечер, Анжела на ночь проглотила их целую пригоршню и выпила водку из пузырька, принесенного Светой. Со слов Светы, которая слышала об этом от своей матери-медсестры, Анжела знала, что снотворные как отравы особенно эффективны в сочетании с алкоголем. Она лежала и терпеливо ждала погружения в забытё, в смерть.

Сначала – и этот отрезок времени показался ей до странности долгим – ничего необычного не ощущалось. Только во рту был неприятный микстурный привкус, от которого она тщетно пыталась избавиться, часто сглатывая слюну. Медленно, постепенно появилась и стала усиливаться тошнота, затем пришла предобморочная слабость. Но и после этого сознание её ещё долго оставалось ясным. Она помнила, как все боялась, что её вырвет на постель, и в готовности дать разрешиться рвотной истоме, которая мучительно медленно подкатывала к горлу, она склоняла голову к краю кровати. А потом сознание её вдруг погасло.

Очнулась Анжела в больнице. Первое, что она увидела, – это склонённое над ней плачущее лицо матери. Анжела испытала тогда смешанное чувство вины, жалости к матери и облегчения. Хотела ли она умереть на самом деле? Она уже не была в этом уверена. Лежа на больничной койке в отделении реанимации, она с удовлетворением чувствовала себя предметом общего внимания и заботы. Три дня ей было почти хорошо, а потом её перевели в стационар при городском психоневрологическом диспансере.

В психиатрическом стационаре, за долгие три месяца с ежедневными муками от нейролептиков и инсулиновых шоков её «я» было низведено до уровня жалкой, дрожащей плоти, всецело подавленной страданием. Шоковую терапию ей назначили уже через неделю после попадания в стационар. Шоки вызывались с помощью инсулина, который ей кололи ежедневно, по утрам, кроме субботы и воскресенья, каждый раз повышая дозу на четыре единицы. Перед этим уколом с утра нельзя было ничего есть, чтобы не мешать действию инсулина. Сразу после укола её «фиксировали»: привязывали к кровати простынями за руки, за ноги и поперёк груди. Анжела скоро поняла смысл этой меры: Лена, её соседка по палате, которой тоже кололи инсулин, в забытьи сначала всхлипывала, бессвязно бормотала о чём-то, с кем-то спорила, чему-то смеялась, а затем билась и порывалась вскочить с койки. Понаблюдать за Леной приходила врач Маргарита Васильевна. Из этого Анжела заключила, что сказанное в «отключке» представляет медицинский интерес. Сама Анжела наблюдала за соседкой с ужасом, примеривая её состояние к себе: неужели и она будет вот так же бормотать нелепый, стыдный вздор, смеяться и дёргаться, а после выхода из беспамятства станет такой же угрюмой, подавленной?

Через час после укола инсулина Анжеле делалось невыносимо жарко. Она обильно потела и испытывала муки голода, потому что инсулин уничтожал сахар в крови. Во рту её пересыхало, сознание туманилось, голова начинала казаться барабаном, в который медленно, звонко стучала кровь. Эти мучительные, ни на что не похожие приступы становились всё более выраженными по мере увеличения дозы инсулина. Казалось, нечто невыносимо тяжёлое наваливалось на неё, плющило её. Всё отчётливее, с ужасом и отвращением, она чувствовала, что превращается в такие часы в потную, расслабленную, безвольную массу наподобие студня. И даже мозг её точно размягчался. Продержав с час-полтора в тяжкой, горячечной муке, её возвращали к жизни сахарным сиропом, который лили ей в рот, слегка приподняв в постели. Жестяная кружка была прохладна на ощупь, но жидкость в ней, совсем не сладкая на вкус, казалась во рту обжигающей. От неё першило в горле, всё тело пронзало чем-то острым, горячим, в глазах вспыхивали ослепительные искры, а внутри головы лопались какие-то пузыри. Проглотив это питьё, Анжела постепенно приходила в себя, с каждым разом всё труднее. Затем ей делали инъекцию глюкозы в вену. Для этого медсестра Людмила Ивановна туго стягивала предплечье девушки резиновым жгутом, чтобы отчётливее проступила вена на локтевом сгибе.

– Поработай кулачком, – каждый раз говорила Людмила Ивановна.

Анжела уяснила, что вены у неё «плохие», трудные для поиска. Просветили её и о смысле инсулино-шоковой терапии: оказывается, во время инсулиновых шоков мозг испытывает острое голодание и для получения питательных веществ расщепляет накопившиеся в нём шлаки – продукты нарушенного обмена веществ, которые отравляют организм, вызывая болезни. Услышав об этом, Анжела подумала: а кто поручится за то, что во время шоков не гибнут от голода или не расщепляются на питательные вещества и здоровые клетки мозга? Во всяком случае, она после каждого шока отмечала у себя нараставшее отупение и безразличие ко всему.

После инъекции глюкозы Анжеле поднимали с койки и под руки подводили к столу, стоявшему тут же в палате, у окна. Глотая давно остывший завтрак, она искоса поглядывала на соседок по палате: не заметно ли по их лицам, что она в беспамятстве говорила что-то странное?

Однажды после очередного укола она впала в забытьё и очнулась в странном сновидном состоянии, смутно чувствуя сквозь звон в ушах, что её окликают по имени откуда-то изда-лека, теребят её щеки. И почему-то для неё невозможно ни понять, что происходит, ни хотя бы откликнуться. Затем она ощутила, что её приподнимают на кровати, подносят что-то к её губам и заставляют пить. Она послушно начала глотать, и тотчас с хрустальным звоном стала вдруг насильственно вторгаться в её сознание забытая реальность: залитая холодным зимним

солнцем палата, устремлённые на неё взгляды соседок и санитарок, жестяная кружка у её рта, которую держит медсестра и нетерпеливо говорит:

– Ну же, Анжела! Пей скорее!

Всё тот же сахарный сироп на этот раз особенно болезненно обжигал её мозг, медленно оживляя в нём пласты погасшего сознания. После нескольких глотков она осознала, что была в «отключке», в коме.

Все в палате с неловким видом отводили глаза, избегая встречаться с ней взглядом, и сердце её упало: значит, и она бормотала нечто нелепое, стыдное! Не проговорила ли она о чём-то сокровенном? Но спросить об этом кого-то было невозможно...

В последующие дни она стала замечать, что соседки по палате смотрят на неё по-новому, с молчаливым, угрюмым любопытством. Одна из них, рослая, мрачная баба лет сорока, в разговоре с новенькой, тридцатилетней маленькой шатенкой, неопрятной, суетливой, с постоянным тоскливо-беспокойным выражением лица, которой врач назначил инсулиновую терапию со следующей недели, сказала с досадой:

– Ничего хорошего в этом нет! Будешь дёргаться и чирикать, как эта! – и кивнула на Анжелу.

Анжела поняла: она действительно выбалтывает в забытьи что-то странное! Это сознание сделало её ещё более подавленной, униженной, как бы виноватой перед всеми.

Вскоре Анжела узнала, что доза инсулина, при которой она впервые потеряла сознание, – восемьдесят единиц, – больше увеличиваться не будет и что назначенный ей курс – двадцать шоков. В её несчастной, искромсанной, раздавленной душе на миг шевельнулось, как ни странно, горделивое чувство от сознания, что она такая стойкая, что ей колют так много препарата, тогда как Лена «отключалась» уже при сорока единицах. А вскоре она даже начала находить нечто приятное в насильственных приступах забытья: это хотя бы на краткое время избавляло её от невыносимой реальности.

Тяжелее инсулина переносились нейролептики. Их давали после еды в виде таблеток, тут же заглядывая ей в рот, чтобы удостовериться в том, что она их глотает. Вместе с трифтазином, френолоном и тизерцином в неё вселялось нечто инородное, враждебное, невыносимое. Наверно, будь её мука обычной болью, она переносилась бы легче. Но страдание её заключалось прежде всего в чувстве невыносимого внутреннего напряжения, от которого постоянно чуть-чуть подрагивали конечности и невозможно было найти себе место, даже просто принять какую-то спокойную позу. Как если бы что-то злое, насильственно загнанное в её тело, мучительно искало для себя выхода. Казалось, ещё миг – и она затрясется мелкой дрожью у всех на виду. И почему-то именно этого как чего-то постыдного и совершенно недопустимого страшилась больше всего её раздавленная, болезненно размягченная душа.

Свои страдания ей не с чем было сравнить. По остроте и непрерывности муки самым близким к тому, что испытывала она, было, наверно, сожжение на медленном огне, но только без физической боли как таковой. Она пробовала жаловаться на своё состояние своему врачу Маргарите Васильевне, всегда очень спокойной, ещё довольно молоджавой крашеной блондинке лет сорока пяти, но та отвечала невозмутимо, что это всего лишь акатизия, симптом неусидчивости – обычный побочный эффект нейролептиков. Для смягчения его Анжеле был прописан так называемый «корректор» циклодол в виде маленькой белой таблетки, которую ей стали выдавать вместе с нейролептиками дважды в день. Однако ощутимого облегчения это не приносило.

Её мука прерывалась только по ночам на несколько часов тяжёлого забытья, наступавшего после приёма в десятом часу вечера большой круглой таблетки аминазина зловещего красноватого цвета. Но уже в два или три часа ночи она просыпалась, и затем начиналось долгое, тягостное бодрствование до утра. В бессонные ночные часы становилось особенно ощутимо, как в палате душно и смрадно, как отвратительно, кисло воняет от тумбочек, наполнен-

ных снedyю, от сопящих соседок и от её собственного потного тела. Под беспощадным светом лампочки, сиявшей над головой всю ночь напролёт, и под недремлющим оком дежурной медсестры Анжела чувствовала себя пригвождённой к своему ложу страданий. Подняться можно было только для посещения туалета, с риском вдруг потерять сознание и упасть. Когда однажды с ней случилось такое, санитарка, обнаружив её распростёртой на холодном каменном полу, растормошила её и начала испуганно расспрашивать её о том, не страдает ли она падучей, а подошедшая медсестра важно объяснила, что это – ортостатический коллапс из-за резкого падения артериального давления, побочный эффект аминазина. Поэтому после приёма этого препарата нежелательно вставать с постели.

По ночам Анжела часами неподвижно томилась в постели и мечтала только о смерти, чувствуя себе такой же старой, несвежей, потасканной, как все окружавшие её бабы, жалкие и страшные одновременно. Хотя она, шестнадцатилетняя, была в стационаре при диспансере самой молодой. Будь она моложе на год, её отправили бы в детское отделение областной психиатрической больницы. Как часто под утро, зажмурив глаза из-за безжалостного, изнурительного света ламп под потолком, Анжела думала об одном и том же: вот бы разбить голову о каменную стену! Или раздобыть что-то острое, чтобы перерезать горло! Но одновременно она сознавала, что любое, самое незначительное усилие души и тела стало невыносимо для неё. Даже за партией в шашки с соседкой по палате ей не удалось высидеть и пяти минут. Плакать и томиться безвольно, лёжа на койке, цепenea в мучительном усилии сдерживать пронизывающую её изнутри странную дрожь, – вот и всё, что она могла теперь. Да ещё вместе с другими больными бесцельно сновать из конца в конец длинного коридора, когда это разрешалось после ужина. Анжела отчётливо чувствовала, что её жалкая, размолотая душа превращена в подобие дряблого студня и охвачена ужасной, неведомой прежде тоской. От совершенно ясного сознания переживаемой гибели ей до слёз было жалко и себя, и своих бедных родителей.

Как хорошо понимала она свою соседку – угрюмую, невзрачную Анну Рогач! Отпущенная врачом Маргаритой Васильевной на выходные домой к детям и мужу, Анна бросилась под поезд. Анжелу сквозь её собственную безысходную муку поразило это событие и всего более – той будничностью, с какой оно было воспринято окружающими. Маргарита Васильевна в течение нескольких дней ходила с видом печальным, слегка смущённым, но всё же казалась вполне спокойной. Санитарки и медсестры говорили об Анне тоже без признаков особого волнения и совсем немного: о том, что она, по рассказу какого-то очевидца, поцеловала детей и кинулась к железнодорожной колее, проходившей неподалеку от её частного дома, навстречу поезду, лицом прямо на рельсы, так что голову её «расплющило в лепёшку». Анжела внутренне содрогнулась от этой подробности, ощутив в ней проявление твёрдой, страшной решимости умереть наверняка, хотя бы через взрыв чудовищной боли в последний миг. Значит, страдание было так велико, что превозмогло обезволивающее действие нейролептиков! Но разве и она, Анжела, не страдает тяжело, невыносимо? И разве ей тоже не хочется умереть во что бы то ни стало?

Анжела силилась припомнить Анну, но это плохо ей удавалось. Хотя их койки находились в одном проходе, так что ежедневно погибшая должна была десяток раз проходить в нескольких сантиметрах от Анжелы. Но почему-то в памяти девушки Анна осталась только быстрой, неприметной, неслышной тенью, скользившей всегда мимо, поспешно и безучастно. Уже совсем смутно, как бы сквозь сон, вспоминалось худенькое лицо Анны, и не чертами своими, теперь навеки неуловимыми, размытыми, как на старой кладбищенской фотографии, а только своим выражением – бесконечно печальным, подавленным.

Анжела подозревала, что погибла Анна Рогач не вопреки лекарствам, а благодаря им. Она судила об этом по себе: как ни худо бывало ей порой до больницы, все же только попав туда, она вполне поняла, что выражение «бездна страданий» – не просто метафора, а вполне корректная характеристика её состояния. Что и на земле вполне реальны адские муки. Может

быть, именно на этом и основан расчёт врачей: дать пациенту почувствовать, что все его беды, пережитые до больницы, – вздор по сравнению с настоящим страданием? И что можно пойти на всё, лишь бы избежать повторения подобного? Анжеле уже казалось завидным её прежнее прозябание, казавшееся совсем безрадостным. Как она была не права: это же такая радость – не испытывать каждый миг невыносимого, безысходного напряжения души и тела!

Анжела попыталась объяснить врачу, как ей плохо от лекарств, намного хуже, чем было до больницы. Она стала просить о выписке, с каждым днем всё настойчивее. В ответ Маргарита Васильевна говорила о необходимости закончить курс лечения, а однажды со сдержанным лукавством сказала что-то совсем странное:

– Ну вот ты же жалуешься на чувство напряжения...

Да она считает меня совсем душой или просто издевается! – изумилась Анжела. Пагубные последствия калечащего «лечения» выдаются за основание для того, чтобы калечить и мучить дальше!

Однако после «странного» ответа врача Анжела уже значительно реже просила о скорейшей выписке. Так не хотелось снова нарваться на откровенную издёвку! Лишь в самые трудные минуты, когда становилось совсем невмоготу, она решалась на это. Но при этом, как ни странно, чем далее, тем меньше оставалось у неё уверенности в том, что ей на самом деле не стоило лечиться. Ей же изо дня в день внушали все – врач, медсёстры, мать, даже иные соседки по палате, – что лечиться нужно, что признание этой необходимости – первый признак выздоровления, неременное условие выписки. Общими усилиями её почти убедили в том, что она действительно больна, что несомненными признаками её душевного недуга являются эгоизм, бесчувствие к матери и отцу и желание умереть. А неведомые ей прежде, появившиеся уже в больнице приступы расслабленной, тоскливой, пронзительной жалости к себе и родителям – явные признаки выздоровления. Если это так, то её нынешнее состояние подавленного, слезливого безволия – наилучшее, поскольку менее всего искажено проявлениями болезни. Вместе с этой идеей пришло неожиданное облегчение: значит, от неё ничего не зависит, значит, остаётся лишь отдаться на милость чужой, суровой, даже внешне жестокой, но в сущности благодетельной воли врача. Именно на этом этапе, доведя Анжелу до нужной «кондиции», Маргарита Васильевна выписала её.

Первое время после выписки Анжела продолжала принимать нейрорептики. Ей приносило странное облегчение даже сознание своего ничтожества. Да, пусть она всего лишь жалкая, трепещущая плоть с ошмётками убогой, истерзанной души, простая биомасса, но тем легче пожертвовать собой на радость другим и в этом обрести истинный смысл своего существования. Всё, что от неё требуется, – лечиться на радость матери и отца. Только это и ничего иного, поскольку не может быть самостоятельного, высокого предназначения у биомассы. Но зато этой новой, счастливо открывшейся ей цели она посвятит себя полностью. И чем более преуспешет в этом, тем дальше уйдет от того, что сейчас представлялось самым страшным, чудовищным, – от чёрного омута самоубийства. Идея самоистребления страшила её теперь в особенности из-за появившегося подозрения, предчувствия: никогда не получится у неё переступить произвольно через гибельную черту, и только обречь себя на ещё горшие муки – в её силах.

Убить себя стало казаться Анжеле не только невозможным, но и ненужным, потому что под воздействием инсулиновых шоков и нейрорептиков в её сознании потускнело чувство реальности всего окружающего и происходящего. Она часто недоумевала: а точно ли она живёт в Ордатове и её родители – Мирра и Сергей Чермных? На самом ли деле она молода и её зовут Анжела? Действительно ли её душа заключена в ту невзрачную плоть, которая видима в зеркале и из-за которой ей недавно хотелось умереть? Не сон ли вся её жизнь? Или она где-то читала о подобной несчастной девушке, видела её в кино?

Теперь переживаемые невзгоды часто представлялись Анжеле иллюзорными. Вместе с облегчением это несло в себе угрозу утраты связей с действительностью. Зачем заботиться о

жизни, если она нереальна? К чему переносить её тяготы, готовить себя к будущему, к работе и супружеству? Ведь ничего этого не будет. Только ради мнения окружающих? Но все вокруг, кроме отца и матери, казались только призрачными, маленькими марионетками в человеческом облики. Пусть они думают об Анжеле, что хотят, – наплевать! Их представления о ней так мало значат для неё, что она способна говорить им в лицо гадости, предстать перед ними раскрашенной или голой. В сущности, дразнить глупых марионеток очень приятно, и если она не будет этого делать, то лишь из-за душевной лени и из нежелания огорчать родителей. Но даже ради матери и отца для неё невозможно заниматься всерьёз чем бы то ни было: учёбой, гимнастикой или домашними делами. Ей зачастую было даже трудно заставить себя помыться. К чему, если жизнь её сломана?

Все, что ей остаётся, – отстранённо наблюдать за событиями вокруг себя, как если бы они происходили на экране телевизора. И вовсе не потому, что она так решила: просто у неё нет ни желаний, ни сил на что-то иное. Для неё скучны все книги и фильмы, её не интересуют ни музыка, ни живопись. Какое пустое, никчёмное занятие: вживаться в чьи-то чужие переживания! Она сама страдает ужасно, и никому нет до этого дела! Разве что богатства интернета прельщали её, но лишь возможностью беспечно блуждать бестелесной тенью по множеству сайтов, ни к чему не чувствуя ни любви, ни настоящего интереса...

Вскоре после возвращения домой Анжела правдой-неправдой прекратила прием нейрорептиков, и постепенно к ней вернулось сознание своего собственного, независимого «я». Вслед за этим вопрос о самоубийстве был для неё решен окончательно. Она уже знала точно: счастливой ей не быть, потому что её изменили, испортили непоправимо. После перенесённого ей уже не стать нормальной женщиной и не родить здоровых детей. Но определённости этого решения позволяла не торопиться с его исполнением. Зачем, если сегодня, сейчас жизнь ещё мало-мальски терпима? Ей страшно было представить себя в тридцать лет, тем более в сорок или пятьдесят – никому не нужной, увядшей, уродливой. Доживать до такой поры она, конечно, не собиралась. Но почему бы не пожить ещё немного, пока она молода, хотя бы для того только, чтобы посмотреть на мир вокруг себя? Пусть взглядом как бы со стороны, без чувства сопричастности к окружающему, посмотреть мир ей всё-таки хотелось. А уж когда станет совсем неспособна, тогда и умереть – спокойно, без лишних слёз, вполне подготовленной.

Отстранённый взгляд на жизнь принес ей горестное и вместе с тем отрадное чувство освобождения. Сразу потеряли значение многие мучившие её прежде проблемы: стало излишним думать о будущем, об учёбе, о каком-то призвании или карьере, о создании семьи и даже о том, чтобы хорошо выглядеть. В самом деле, к чему всё это, если она здесь, в этом мире, лишь по прихоти, готовая уйти навсегда не сегодня-завтра? Разочаровавшаяся во всём, она вдруг почувствовала себя свободной и смелой, и именно тогда, как ни странно, ей захотелось вырваться из своего одинокого затворничества. Ей просто уже нечего было больше бояться. Если она уже и так ужасно страдает и терять ей нечего, отчего же не попытаться найти друга? Её постигнет новое горе и разочарование? Но только не ей, поставившей на своей жизни крест, бояться этого! А вдруг случится чудо: встретится человек, который подарит ей то, о чем мечталось уже давно, – любовь или хотя бы иллюзию любви?

2

Ещё накануне вечером, когда начало подмораживать, а ветер усилился и погнал позёмку, Котарь понял: новый день будет решающим. Если ничто не изменится, то он просто сгинет, пропадёт, одинокий и никому не нужный, в этом чужом городе. Он может замёрзнуть на улице, угодить в голодном беспамятстве под машину, свалиться в горячке с воспалением легких, сдохнуть под забором, как бродячий пес. Надо найти какой-то выход. Но что отыщется в этом промёрзлом незнакомом Ордатове? Он успел изучить в этом городе лишь окрестности желез-

нодорожного вокзала, исходив их вдоль и поперек, и уже примелькался там. Прохожие с удивлением задерживали взгляд на рослом парне, который рассеянно и как будто бесцельно бродил в клубах снежной пыли в короткой кожаной куртке, с непокрытой головой, несмотря на немалый мороз. А он тоскливо думал о том, что предстоит как-то провести ещё одну ночь, скорее всего – на ногах. На вокзал в зал ожидания путь был заказан: там накануне сержант милиции, уже чем-то взвинченный, потребовав паспорт, небрежно перелистал его и сказал резко, зло:

– Езжай, Котарь, к себе в Ртищево. Нам своих бомжей хватает. Ещё раз увижу тебя здесь – загремишь в отделение. Там разберутся, не наследил ли ты уже где-то. Что-то фамилия у тебя странная, на бандитскую кличку похожая. Молдавская, что ли?

– Нет, было в старину слово «гонтарь», которое означало «кровельщик», – стал зачем-то объяснять Котарь, хотя казённый ночлег уже не только не страшил, но даже отчасти привлекал его. – От него и пошла фамилия. Мне дед говорил об этом...

– Вот что, Котарь, не попадайся мне больше на глаза! Понаехали тут!

В Ордатове у Котаря не оказалось ни одной родной души. Лишь по приезде сюда он узнал, что из города ещё года три назад выехала куда-то со всей своей семьёй его тётка со стороны отца. У неё он ещё ребенком гостил вместе с родителями. Хотя связь с ней прервалась со смертью отца, об этой родне Котарь не забывал. Когда с окончанием техникума стала очень реальной и грозной перспектива загреметь в армию, его потянуло в Ордатов. Представлялось, что лучше всего заявиться к тамошней родне вдруг, без предупреждения, чтобы поставить её перед фактом: нравится вам это или нет, а я вот, уже здесь! И пусть тогда попробуют от него, дорогого племянника, отделаться! А призывная комиссия пусть его поищет!

Служить Котарю не хотелось ужасно. Идти своими ногами в неволю, на издевательства свирепых «дедов», с немалым риском получить на всю жизнь какую-то серьёзную травму, стать калеккой? О таких случаях он был наслышан и подобного для себя не желал. Нет уж! Куда разумнее перекантоваться в Ордатове несколько лет до истечения призывного возраста и за это время, может быть, успеть неплохо устроиться в чужом городе.

Но всё-таки лишь одного нежелания служить не хватило бы ему для того, чтобы решиться уехать из родного городка. Его подтолкнула, допекла своими упрёками мать: мол, он, здоровый лоботряс, не спешит найти работу и живёт за её счет. После очередного семейного скандала его решение созрело. Она попрекает его куском хлеба? Что ж, тогда он уедет! Это очень просто! Может быть, она вообще больше никогда его не увидит!

В сущности, он был даже рад той финальной нервотрёпке, которая положила конец его колебаниям. Он старательно подогревал свою обиду, вспоминая, каким безжалостным, презрительным было лицо матери, когда она корила его. Он злорадно представлял, как горько раскается она, когда он уедет! Когда она даже не будет знать, где он, жив ли он вообще!

В порыве своего расчётливого гнева он легко сорвался с места. И неужели только для того, чтобы теперь, очутившись без денег и родни в незнакомом городе, вдруг с ужасом осознать: он влип, как последний лох?

Мысль о том, что же делать, не давала ему покоя с позавчерашнего дня, с той самой минуты, когда по прежнему адресу тётки дверь открыла хмурая, неприветливая старуха и настороженно, с очевидной неприязнью к нежданному незнакомцу сообщила, что Тамара Игнатенко продала квартиру, а сама с семьёй куда-то уехала из города. Как быть ему теперь? Назад в Ртищево? Сдаться слишком легко, без борьбы, было стыдно. К тому же на какие деньги купить билет? По пути в Ордатов он полностью растратил захваченные из дома сто тысяч, рассчитывая на новом месте какое-то время пожить на хлебах у тетки, по-родственному. Подработать? Ещё в первый день он походил по местному рынку, раскинувшемуся неподалёку от вокзала. При удивительном после Ртищево многолюдстве толпы, толкавшейся на площади в добрый гектар, ему бросилась в глаза мелочность торговли. Партии товаров – все маленькие, рассчитанные на перенос в двух-трех сумках. И всё дешёвое, нигде не замечалось вещей

дороже «лимона». У него защемило в груди от разочарования и недобрых предчувствий: на этом торжище, как на толкучке в родном городке, грошовое, аляповатое барахло пытались сбыть нищим покупателям такие же нищие торговцы – очевидно, обычные работяги, подавшиеся в «челноки» из-за безработицы. Неужели проситься в помощники к этим дельцам блошиного рынка? Явно безнадёжная затея! А ещё какие есть у него возможности? Разыскать мебельный магазин или оптовый продовольственный рынок, чтобы прибиться к тамошним артелям грузчиков? Но перспектива ворочать солидные тяжести его пугала. Он сознавал, что при неплохом росте совсем не силён: тонок в кости, без налитых мускулов на худосочном, помальчишески угловатом теле. А для какой-то иной работы нужна была местная прописка – это знающие люди растолковали ему ещё в первый вечер на здешнем вокзале.

Вообще-то идея о том, что делать, забрезжила в его сознании сразу, как только стало ясно, что в Ордатове никаких родственников у него нет. Сначала он пугливо гнал эту мысль прочь. Но она, дикая, шальная, тревожила его воображение снова и снова, быстро созревая вместе с голодом и усталостью. В самом деле, что же ещё остаётся ему, когда нет денег даже на телеграмму или междугородный телефон? Когда еще слишком свежа обида, чтобы просить помощи у матери? Когда в любом случае перевод придёт не раньше, чем его свалит голодный обморок?

Уже второй день его тело и дух тяжко томила голодная пустота, заставляя думать об одном: надо, пока ещё есть силы, решаться «на дело». Откуда пришло в его сознание это выражение, он понятия не имел. Уж точно не от бластных приятелей, которых у него сроду не было. В школьные годы его, хлипкого пацана, всегда чистенько и бедно одетого, росшего без отца, и потому, наверно, всегда робкого в кругу сверстников, не признавала своим даже самая обычная дворовая шпана. Да он и сам не напрашивался в компанию к прокуренным, нередко хмельным, дерзким парням. Он восхищался ими лишь издали, молчаливо, сознавая, что он совсем из другого «теста». Только через пересуды школьных приятелей слабыми отголосками доходила до него молва о похождениях Аркана, Серого, Чмыря и других дворовых авторитетов. Эти рассказы пленяли его волнующими образами незнакомого мира: суровые, немногословные пацаны «идут на дело», чтобы вырвать у жадных и наглых куркулей толику несправедно нажитого ими добра. Хотя, по другим, более правдоподобным слухам, ничего «героического» они не совершали, а лишь снимали меховые шапки с прохожих, воровали магнитолы из автомобилей и опустошали карманы пьяниц.

Отчего не попробовать совершить преступление, если уж прижало до крайности? Конечно, страшно попасться, но всё-таки даже место на нарах лучше неприкаянного и безнадёжного шатания по морозу в чужом городе. Ещё один выигрыш будет в том, что судимого в армию точно не возьмут. И это ещё не всё на «зоне» он приобщится к миру бластных. Как уважали во дворе парней, побывавших в заключении! Может быть, в камере его примут как своего. Тогда – фарт! У бластных могучие связи и денег – без счёта, многие из них заводят свой бизнес. Если он станет одним из них, его тоже определят к прибыльному делу. А не получится преуспеть на этом пути – что ж, и тогда его всю жизнь будет утешать горделивая мысль: он оказался способен на отважный, почти безрассудный поступок! Вероятнее же всего, удастся просто добыть деньги, которых хватит на первое время, а там всё как-нибудь устроится...

Ателье под выцветшей вывеской с надписью «Надежда» на первом этаже девятиэтажки по соседству с магазинчиками в том же здании Котарь заметил ещё в свой первый день в Ордатове, когда наудачу двинулся прочь от вокзала, в глубь незнакомого жилого массива. В витрине ему бросились в глаза женские манекены, изящно застывшие в нарядных одеждах, а дальше, за пыльными стеклами, можно было различить пустынный вестибюль, одинокую женщину за прилавком, примерочные кабины и развешанные по стенам образцы тканей. Сразу, как бы совсем непроизвольно, само по себе, его сознание отметило и запомнило, что заведение находится на отшибе, вдали от оживлённых улиц, в двух кварталах от обширного заброшен-

ного парка. Заметил он и то, что милиционеры попадаются в этом районе сравнительно редко и к тому же здесь они совсем не так придирчивы, как в центре и на вокзале.

Во второй свой вечер в Ордатове, по-прежнему во власти безотчётного побуждения, он зашел во двор ателье и медленно прошёл мимо окон первого этажа, всматриваясь в сумрачное пространство за ними. За мутными стёклами он разглядел обширное помещение со швейными машинами и склонившимися над ними женскими силуэтами. Неожиданно у него возникло манящее предчувствие чего-то сладкого, упоительного, захватывающего. Он так и не понял, связано ли оно с его мечтами о женщинах или с этой шальной, только что пришедшей в голову идеей о том, как запросто можно добыть деньги: вечером, когда стемнеет, войти в ателье и, угрожая ножом, забрать дневную выручку. Ведь никто здесь не сможет оказать ему сопротивление. К тому же посягать на бизнес – это красивее, благороднее, чем грабить в подворотне пенсионера или подростка.

Затем, коротая ночь на лестнице в тёмном подъезде жилого дома, он убедил себя в том, что замысел его вполне осуществим. Главное – не попасться. Для этого, заполучив деньги, он постарается немедленно выбраться из Ордатова. Он уедет в какой-то другой город, найдёт работу и начнёт жизнь спокойную, осмотрительную. Может быть, купит чужие документы, получит водительские права и станет водителем маршрутного такси. Да мало ли подходящих работ для молодого парня с головой на плечах! Всё очень просто! Единственное, что необходимо для исполнения задуманного, – решимость. Она уже созрела. Осталось лишь дожидаться ближайшего вечера. Он уже уверился в том, что иного выхода нет, что судьба сама несёт его навстречу неизбежному, помимо его воли, как морская волна. А он лишь подчиняется непреодолимому течению событий. И оттого в будущем, что бы ни случилось, оснований для сожалений не будет. Он просто оказался в безвыходной ситуации – и всё тут! В случае неудачи он легко объяснит дознавателям свой поступок: ему просто нечего было есть!

На третий день в Ордатове он решил окончательно: сегодня или никогда! Уже с утра он чувствовал сосущую пустоту в желудке и накатывающие время от времени приступы слабости и головокружения. Завтра у него уже ни на что не будет сил. Накануне он ел только раз: дожевал надкусанный батон, украдкой подобранный со стола в вокзальном буфете. К полудню его стало поташнивать, а ближе к вечеру начал бить озноб. Теперь на самом деле деваться было некуда, кроме как решиться на что-то отчаянное. Не становиться же возле магазина с протянутой рукой! Ха-ха... Кто же подаст ему, высоченному парню?.. Нет, остаётся одно...

В пять часов вечера ноги как бы сами собой понесли его к «Надежде». Ещё накануне он выведал, что работает ателье не до семи вечера, как написано на табличке у входа, а до половины седьмого: к этому времени в вестибюле появляется ночной сторож, сутулый, жилистый старик, который уже не пускает посетителей, и женщины-сотрудницы начинают расходиться. Значит, надо заявиться за час до закрытия: так легче будет не привлечь к себе внимание.

Котарь подошел к подёрнутому изморозью стеклу витрины, всмотрелся сквозь него. Все та же тёмноволосая женщина кавказского вида одиноко сидела за прилавком. Он догадался, кто она: приемщица заказов (однажды, ещё в Ртищево, он заказывал себе в ателье брюки, и оформила его заказ женщина, чья должность была названа в выданной ему квитанции именно так). Он помедлил, пытаясь разглядеть ещё что-то важное, нужное, хотя понимал, что задерживаться слишком нельзя: на него могут обратить внимание прохожие или работницы ателье, прежде всего эта самая приемщица. Что он будет делать, если она, почувствовав его взгляд, поднимет на него глаза? Почему-то именно это казалось самым опасным. Тем, чего надо избежать непременно. Не потому ли, что он просто сожмётся под её пристальным взглядом, отпрянет прочь, как побитая собака? И останется тогда один на пустых, холодных улицах ночного города без планов, без сил, без надежд... С трудной решимостью пловца, входящего в холодную воду, он двинулся к двери ателье.

Тяжёлая, на тугой пружине дверь подалась с трудом. За ней оказался стеклянный тамбур с ещё одной дверью. Он старался шуметь как можно меньше, но с отчаянием чувствовал, что это не очень-то удаётся, что ослабевшее тело плохо слушается его. Уже с порога он разглядел металлический шкаф за спиной темноволосой приемщицы. Деньги – там! Женщина, конечно, услышала его ещё в дверях, но почему-то подняла на него взгляд не сразу. А когда это произошло, он внутренне вздрогнул. Взор её темных глаз, затенённых густыми ресницами, показался необыкновенным – бархатным и пронизательным. Ему почудилось, что она мгновенно постигла его сущность, проникла в самую глубину его души. Он разоблачён, его намерения раскрыты! И сама она, грузная, рослая, явно немолодая, с большой грудью, выглядела значительной, солидной, чем-то похожей на его мать. Он сообразил, кто перед ним: да это же настоящая бой-баба, заматеревшая в жизненных бурях! Таковую криком и простой угрозой не проймёшь! Чего доброго, ещё и огреет его по голове своей крупной, тяжёлой рукой! Что ему делать? Не убивать же её! Изначально было решено, что нож нужен только для внешнего эффекта, для понта, да и то на крайний случай...

Однако назад пути у него не было, потому что хоть какой-то результат был теперь ему, шальному от голода и тоски, нужен позарез. И потому не раздумывая, меняя на ходу все планы, он пробормотал: «Я к мастеру», – и метнулся мимо приёмщицы в глубину фойе, ко входу в служебные помещения. Здесь, в этом жалком ателье, должно было как-то разрешиться его невыносимое душевное и физическое напряжение последних дней...

Приёмщица что-то закричала ему вслед, но он с отчаянной решимостью углубился в сумрачный коридор, сокровенное нутро ателье. В крайнем случае, подумал он, можно будет сказать, что он пришёл проведать знакомую девчонку, которая наврала, что будто бы работает здесь...

По обе стороны длинного, тускло освещённого коридора было с десяток дверей. Не отыщется ли за ними что-нибудь ценное? Двигаясь в пыльном полумраке, он зацепил локтем голую металлическую вешалку-стойку, затем споткнулся о валявшийся на полу пустой фанерный ящик и оказался перед обитой черным дерматином дверью с надписью на табличке: «Бухгалтерия». Он дёрнул за дверную ручку, но тщетно. Видимо, дверь была закрыта на ключ. Кажется, он испытал даже что-то вроде мимолётного облегчения: роковой поступок был на миг отсрочен.

Уже тогда в нём не осталось и следа от бывшего возбуждения, с каким ещё вчера мечталось о необыкновенном приключении. В маленьком заведении всё казалось слишком будничным. К тому же его начало мутить от голода. Дело, задуманное как смелое самоутверждение, почти как подвиг, оборачивалось нелепой, тягостной и опасной выходкой. И все-таки остановиться было нельзя. Он сам себя загнал в ловушку, из которой не было иного выхода, кроме как через преступление.

Ещё через несколько шагов он оказался у двери с надписью: «Закройная». Из-за неё донеслась женская разноголосица, до того громкая, бойкая, что войти он, конечно, не посмел. Что можно было сделать одному против целой толпы баб? Он метнулся дальше по коридору, миновал открытую дверь мастерской, краем глаза заметив в ней много швейных машин и работающих за ними женщин, и остановился возле обитой коричневым дерматином двери с надписью: «Директор». Осторожно потянув за ручку, заглянул внутрь. В кабинете не было никого. В глубине сумрачного помещения, у зашторенного окна, стоял большой стол, возле него было несколько кресел, чуть поодаль – трельяж, а возле самой двери – платяной шкаф. Что-то неясное подсказало ему, что хозяйка кабинета – женщина. Может быть, тонкий, едва ощутимый аромат духов, который носился в воздухе? Он вдруг догадался, что здесь надо искать дамскую сумочку с деньгами. Где она может быть? И тут же по внезапному наитию сообразил: ну конечно же, в одном из ящичков стола!

В первом же, верхнем ящике стола оказалась черная кожаная дамская сумочка. Дрожащими руками он открыл её, обшарил все отделения и в самом маленьком, предназначенном для денег, обнаружил женские часики с браслетом – то и другое из жёлтого металла. Взяв находку, он по солидной тяжести её сообразил: золото! Он испытал прилив радости: ну хоть что-то ему удалось! Нужно было уходить, но он ещё немного помедлил, осознав: именно сейчас он переступит роковую черту, совершит преступление. Пока ещё можно сказать, что он просто зашёл в кабинет директора, чтобы попроситься на работу, что из любопытства заглянул в стол... Или всё равно уже поздно? Разве для тех, кто застанет его здесь, он уже не вор? И случится это, может быть, через миг. Нет, надо скорее довершить начатое и уносить ноги! С лихорадочной поспешностью он сунул часики в карман куртки и бросил сумочку назад в ящик стола.

Чувствуя, как в груди его бешено стучит сердце, он опрометью выскочил из кабинета в коридор. Там ему внезапно пришло в голову, что надо попытаться выбраться через чёрный ход, во двор, чтобы снова не попасться на глаза приемщице. Может быть, запасной выход за этой белой дверью? Он распахнул её и увидел склонившегося над какими-то ящиками рыжего мужика в синем джинсовом костюме. Тот медленно выпрямился, всмотрелся в незнакомца, что-то сказал, но Котарь, не слушая, бросился назад, в коридор, затем в фойе... А там уже ни души...

Он с размаху толкнул входную дверь, но та не поддавалась... Разбить стекло витрины? Но оно казалось толстым и прочным, а рядом не было никакого подходящего орудия. Какие-то мгновения или, может быть, целых полминуты он медлил, представляя себе, как пробьёт своим телом стеклянную преграду и выскочит на мороз окровавленный, в изорванной одежде... Краем сознания он уловил, что в углу мелодично поскрипывал сверчок. Он запомнил, что его уколола зависть к невидимому насекомому: вот бы и ему так же затаиться, спрятаться в спокойном, теплом уюте... Он почувствовал вдруг, как ужасно устал, какой невероятной тяжестью налилось всё его тело. А нужно искать какой-то выход... Может быть, попытаться разбить витрину каблуками или стулом приёмщицы?..

А в коридоре уже зазвучали голоса, стремительно приближаясь. Может быть, всё-таки попытаться разбить витрину? Но поздно: вот уже из коридора в вестибюль ввалилась целая толпа. В основном это были женщины, но впереди – несколько мужиков. Попался! Радостно-возбуждённые портнихи жадно разглядывали его из-за мужских спин. Вперёд высунулась приёмщица, как бы уполномоченная от остальных баб. Она заговорила сначала вежливо, будто допуская ещё, что случилось недоразумение:

– Молодой человек, что вам нужно? К какому мастеру вы ходили?

Ошеломлённый чудовишной неудачей, Котарь лишь подавленно молчал.

– Да ему не к мастеру нужно было – он ко мне в подсобку сунулся, – спокойно, веско пояснил рыжеватый мужик в джинсовом костюме. – Это же вор.

На какое-то время Котарь погрузился в тяжёлую оторопь. Его точно оглушило. Окружающее куда-то отдалилось, утратило значение, предстало сумбурным, пестрым кошмаром, сном наяву. Ему ещё что-то говорили, кричали, заставили вывернуть карманы куртки и отдать золотые часики, в которых тотчас узнали собственность какой-то Лилии Витальевны – по всей видимости директрисы ателье, хозяйки кабинета, в котором он побывал. Но всё это происходило как бы помимо его сознания, безразлично отрешённого от всех подобных мелочей. По настоящему его теперь заботило то, что ему вдруг захотелось в уборную, по малой нужде. Самым страшным казалось позорно обмочиться при всех этих бабах. Вот этого нужно было избежать во что бы то ни стало! И в не меньшей мере его беспокоила ещё мысль о том, что его могут избить. Наверно, именно поэтому он не отдал вместе с похищенными часиками нож, спрятанный в кармане джинсов. Скорей бы в отделение милиции, в тюрьму – куда угодно, лишь бы прочь от этого бабья! Пусть в милиции его обыщут, заберут нож, допросят. Ему теперь всё

безразлично. Ближайшее будущее его не волнует. Ведь оно уже определено. По крайней мере, пайка и крыша над головой ему обеспечены!

Но вызывать милицию, похоже, не спешили. Бабы явно злорадствовали при виде его унижения и непрочь были продлить это удовольствие. Вот они расступились перед сторбленной, колченогой старухой с высохшим телом и жёлтым лицом, чтобы и этой убогой перепало радости. Глаза старухи оживились, поймав взгляд Котаря, и что-то истинно бесовское загорелось в них.

– А-а, голубок, вовремя залетел, прямо к столу, на угощенье! – просипела карга.

«Скорее приехала бы милиция», – уже в который раз тоскливо подумал Котарь. В этот миг вокруг закричали о том, что нужно вывернуть ему ещё и карманы джинсов. Он хотел было сам исполнить требуемое, чтобы избежать физического контакта с обступившими его людьми, но вспомнил о ноже и оказался не в силах пошевелиться, преодолеть испуганную оторопь, сковавшую его. Толпа тёмной тучей надвинулась ещё теснее, задышала ему прямо в лицо. Было невыносимо читать отвращение и ненависть в устремлённых на него взглядах. «Наверно, сейчас схватят, вывернут карманы и потом будут бить», – тоскливо подумал он. Стал почти непреодолимым соблазн попытаться вырваться из людского кольца, разбить витрину и бежать. Но одновременно он совершенно ясно осознал, что прочные витринные стекла разбить нелегко и, самое главное, стоит ему шевельнуться, как его немедленно схватят и тогда уже точно избьют.

Почему-то мысль о том, что он может пострадать физически, сейчас более всего тревожила его воображение. Отчего он не думал об этом раньше? Допуская в принципе возможность неудачи, он до сих пор не представлял, что его могут травмировать, истерзать. Теперь же с внутренним содроганием он сознавал, что телесно не крепок, что легко может оказаться на всю жизнь изувечен одним из тех эффектных, страшных ударов, которые видел в боевиках.

И вдруг сквозь пелену рстерянности и тоски его сознание пронзили ужасные слова: «Лилия Витальевна убита!»

– Я никого не убивал... – пробормотал он испуганно, почувствовав себя обязанным ответить страшное обвинение.

К нему подскочил рыжеватый мужик, ранее встреченный в магазинной подсобке, и мгновенно вывернул его карманы, достав нож.

– Тот самый! – ахнули в толпе. – А ведь при случае мог и кого-то из нас пырнуть!

Котарь едва успел зажмуриться, когда рыжий вдруг размахнулся и сильно ударил его по лицу. Молодого человека швырнуло на витрину, сознание его затуманилось, а во рту он ощутил солоноватый привкус. Он зашатался, едва удержался на ногах и с ужасом подумал о том, что сейчас его будут бить ещё. Но в настроении толпы что-то уже изменилось, разрядилось. Толпа слегка отступила от него. Женщины теперь смотрели на него не столько со страхом, сколько с недоумением. «Наверно, я очень жалок», – мелькнуло в его сознании. Он удивился этой мысли. Какое сейчас имеет значение то, что он жалок? Всё затмевало одно: произошло нечто ужасное, и не с кем-то – с ним... Как выпутается он из этой истории? Выход не просматривался, вокруг все было точно в густой, непроницаемой мгле, угрожающей каждый миг всё новыми бедами. «Ну и к черту! Будь что будет!» – подумал он с яростным ожесточением на ужасную действительность, в которой несчастья нагромождались, захлёстывали его безжалостной лавиной.

В душе его точно что-то оборвалось. Появилась бессильная, безнадежная готовность к любой беде. В этом состоянии он дождался прихода милиционеров. Их было двое – рослых, массивных в своих толстых полушубках. Когда они с непонятным, чрезмерным усилием, нарочито-грубо заломив ему руки, потащили его к машине и втолкнули в её душное, пахнущее чем-то кислым нутро, он подумал о том, что вот и пришла развязка всему, что мучило его в последнее время. Минули безумные, неприкаянные дни и ночи в чужом городе, мечты о преступлении, волнения, страх, отчаянная попытка и в итоге ужасный провал и стыд – всё это пред-

ставлялось теперь сплошным, невыносимым кошмаром, из которого нужно было вырваться непременно. Мотор взревел, и отрешённо Котарь подумал о том, что вот в его жизни началась новая полоса. Что принесёт она?..

3

Вспоминая день убийства Лоскутовой, Константин Шарков всякий раз удивлялся тому, насколько чётко все случившееся тогда запечатлелось в его памяти. Казалось, он ещё чувствовал то тягостное томление, с каким больше часа ожидал в своей машине Лоскутову возле её подъезда. Назначив ему приехать к половине второго, хозяйка что-то уж очень долго собиралась и запаздывала. Он помнил, как с отчаянием отметил в сознании: вот уже четверть третьего, а её всё нет. Наконец в половине третьего она позвонила ему на мобильный и сказала, что выйдет через десять минут. Он ещё с удивлением подумал тогда, что хозяйка, наверно, уж очень не в духе или особенно старается, наводя марафет. Он знал, зачем это было ей нужно: на половину четвёртого было назначено собрание учредителей ТОО «Надежда», на котором она как директор была обязана присутствовать.

Как всегда, его шофёрский интерес заключался в том, чтобы поскорее доставить директрису от порога её дома до ателье и затем освободиться на два-три часа до того времени, когда ей снова нужно будет ехать куда-то. Эти свободные часы, выпадавшие на его долю отнюдь не каждый день, были едва ли не единственной поблажкой для него, водителя на собственных стареньких «Жигулях» в нищей фирме, где платили немного и нерегулярно. Впрочем, какое-то значение имело ещё и то, что числился он в ТОО «Надежда» заместителем директора. Так решила Лоскутова, чтобы легально выдавать ему в виде зарплаты побольше, чем швеям. Более того: она держалась с ним на равных, как если бы считала его своим другом.

Почти друг и формально заместитель Лоскутовой, Шарков знал на удивление мало о её предприятии. Он не был уверен даже в том, что «Надежда» – действительно убыточная фирма, как об этом говорили все вокруг и прежде всего сама директриса. Уж кто-кто, а Лоскутова точно не бедствовала: имела новенькую иномарку и, по слухам, покупала квартиру за квартиру. Но признаки своего делового успеха она старалась скрывать, для чего, наверно, и прибегала к услугам Шаркова. Использование наёмного водителя на его же собственных стареньких «Жигулях» позволяло ей не бить свою дорогую машину в деловых разъездах и не выставлять её напоказ под окнами налоговой инспекции, комитета по имуществу и иных городских контор, где частенько в связи с долгами «Надежды» ей приходилось объясняться, плакаться и прибедняться.

Лилия Витальевна без четверти три выпорхнула наконец из своего подъезда с видом очень деловитым, собранным, целеустремленным. Шарков с удовольствием окинул взглядом её высокую статную фигуру с довольно сильными для женщины плечами, крутыми линиями бедер и небольшой грудью. Несмотря на свои тридцать семь лет, Лоскутова всё ещё могла сойти за девушку. Более того, даже за модель, полагал Шарков. Может быть, именно о подиуме мечтала она ещё девчонкой и лишь оттого, что в советское время демонстрация модной одежды не приносила материального благополучия и общественного признания, и выбрала для себя смежную специальность модельера, которая стала ступенькой к её директорской должности.

Любуясь Лоскутовой, никакой влюблённости по отношению к ней Шарков всё же не испытывал. Что-то слишком холодное, чуждое, опасное всегда чувствовалось ему в облике директрисы. Наверно, у типичной египетской красавицы эпохи фараонов были такие же гладкие тёмные волосы, опускавшиеся на лоб чёлкой, тонкое лицо, большие миндалевидные глаза с поволокой, бронзовый загар лица, шеи и других открытых частей тела. В красоте Лоскутовой, в грации движений её тела Шаркову чудилось что-то хищное, недоброе, напоминавшее ловкую кошку или даже змею. «Клеопатра!» – так порой с неприязнью и опаской называл он её про

себя. Её нельзя было представить в роли жены и матери, хотя, по слухам, она однажды была замужем. В ней не было ничего домашнего, уютного, надежного. Чего стоило одно её поразившее Шаркова пристрастие к сигаретам! Она выкуривала их так много, что любые бумаги и предметы, побывавшие какое-то время в её сумочке, кабинете или квартире, затем долго источали горчащий аромат табака.

Шарков приглядывался к Лоскутовой с затаённым, острым интересом. Пусть всего лишь хозяйка хиреющего ателье, она была для него представительницей мира новых, оборотистых господ. Прямо на его глазах она прокладывала себе путь в таинственную, уже окружённую легендами и завистливым преклонением среду нуворишей. Он оказывался свидетелем чего-то чудесного, вырывавшего эту женщину из вязкой приземлённости серых будней в какие-то сверкающие, таинственные выси. Природу этого чуда он не понимал. Может быть, весь секрет заключался в необыкновенном волевом усилии, соединённом со смелостью и тонким расчётом? Как наёмная директриса второразрядного ателье она одной ногой была ещё в унылом «совковом» прошлом, но в своей руке сжимала уже не просто пригоршню золота или валюты, а нечто несравненно более значительное – кусочек работающей рыночной экономики. Как если бы она добыла с неба несколько крупиц звёздного вещества – залог будущих удивительных успехов.

Пусть о квартирах хозяйки Шарков знал только понаслышке, зато её белоснежную Audi видел собственными глазами. На иномарке в ателье вечером не раз заезжал за Лоскутовой высокий, рыжеватый Евгений Михалин. Он числился в «Надежде» коммерческим директором, но искушённые в сплетнях, всезнающие закройщицы говорили о нём, скромно потупив взоры, кратко и многозначительно: «Друг Лилии Витальевны». Всем было ясно: речь шла о любовнике на содержании. И все эти признаки успеха были для неё, казалось, только началом!

– Ну что, жаждешь? – вместо приветствия оживлённо произнесла Лоскутова, усаживаясь, как всегда, на переднее место, рядом с водителем. – Теперь давай, пожалуйста, поскорее, мне перед собранием нужно ещё переговорить с женщинами.

– Если нужно, примчимся пулей, – в тон Лоскутовой бодро отозвался Шарков. – Только у меня нет денег на штраф. А сегодня пятница...

– Ну и что – пятница? – не поняла Лоскутова.

– По пятницам гаишники особенно лютуют, цепляется ни за что, – объяснил Шарков, уже выруливая на магистраль. – Видимо, считают, что в конце недели автолюбители начинают напиваться. А с хмельного можно взять очень хорошо.

– Что ж, заплачу в крайнем случае. Но ты, надеюсь, трезвый?

– Ещё спрашиваете!

Лоскутова закурила сигарету, и машина наполнилась пряным дымом. Хотя употребляла хозяйка не обычное крепкое мужицкое курево, а какие-то особые сигареты для женщин, некурящий Шарков с неудовольствием шевельнул усами. Ну вот и ещё одна доза никотина! Он подозревал, что курила Лоскутова только для того, чтобы не полнеть. Для того же дважды в неделю она отправлялась в бассейн. И с той же, конечно, целью вместо обеда она пробавлялась у себя в кабинете стаканом чая с горсткой конфет и печенья и обычно приурочивала свои выезды по делам к обеденной поре – к часу дня или двум, чтобы хлопотами заглушить чувство голода. Судя по всему, ещё долго она рассчитывала на пути к успеху использовать свой козырь – смазливую внешность...

При мысли о послеполуденных выездах Лоскутовой, Шаркову стало тоскливо. Ему остертели все эти магазины одежды, возле которых нужно было долго дожидаться, пока Лоскутова по накладным сдавала на реализацию пошитые вещи и забирала нераспроданное, ещё больше – склады оптовиков, в которых директриса вместе со своим товароведом Олей Лехановой придирчиво, мучительно-медленно отбирала ткани и фурнитуру для ателье и спиртное, сигареты и шоколадки для своего круглосуточного киоска и потом всем этим добром

загромождала багажник и задние сиденья. Особенно же тяготили его выезды в налоговую инспекцию, районное предприятие тепловых сетей или иную контору, числившую ателье в должниках. Туда Лоскутова отправлялась всегда взвинченная, то мрачнее тучи, то лихорадочно-весёлая, прихватив с собой бутылку коньяка или французского шампанского и коробку конфет для подношения, а возвращалась неизменно подавленная, и её дурное настроение передавалось Шаркову.

Он поневоле задумывался о том, о чём обычно думать не хотелось: что Лоскутова жульничает напропалую, оттого и переживает, боясь расплаты. Но она, по крайней мере, сколачивает себе капитал, а чем занимается он? Если её фирма – мошенническая, то кто он при ней? Сообщник? Или всего лишь «шестёрка»? А ведь он – дипломированный энергетик, десять лет проработал в Норильске на знаменитом комбинате. Обидно... Но что же делать, если единственным «достижением» норильского периода его жизни оказалось своевременное, ещё в 1990 году, возвращение в родной город и приобретение тогда же подержанных «Жигулей»? Можно было купить в ту пору и хороший дом, но он замешкался, все надеясь выгадать, найти что-то получше, подешевле, – и так протянул до взлета цен в начале 1992 года. Что ж, хорошо уже то, что успел унести ноги с севера, иначе застрял бы за полярным кругом без средств на возвращение, а на тысячи, накопленные на книжке, не то, что «Жигули», – и колбасы на неделю не купил бы. А с «Жигулями» он худо-бедно мог прокормить и себя, и семью: безработную жену и дочку-восьмиклассницу.

Лоскутова о чём-то задумалась. Украдкой, искоса Шарков поглядывал на неё с любопытством: неужели на собрании ей предстоит что-то более серьёзное, чем обычная трепотня для обмишуривания доверчивых баб? Хотя, впрочем, любое выступление следовало продумать. Не так-то просто удерживать внимание смешливых, рассеянных портних. Ведь проводить мероприятие Лоскутовой придется, скорее всего, снова в одиночку. Черных, владелец 51 процента уставного капитала товарищества, способный заговорить баб не хуже Кашпиоровского, жаловал на такие собрания не часто. Обычно он появлялся в тех случаях, когда путём голосования учредителей ТОО нужно было оформить решение какого-то важного вопроса.

Уже в пути Лоскутова что-то вспомнила и сообразила. Не глядя на Шаркова, она сказала как будто мягко, но так, что сразу стало ясно, что возражения неприемлемы:

– Константин, тебе надо быть на собрании.

– А я хотел системой зажигания заняться... Вы же знаете: барахлит.

– На собрании вопрос будет больной. Не хочу визга. Когда рядом мужики, бабы ведут себя приличнее. А после собрания в закройной будет застолье, на которое тебя тоже приглашаю.

Спорить не приходилось. Для чего ещё и нужен он Лоскутовой, как не для внешнего эффекта, «блезира» – чтобы, проще говоря, в бабьем коллективе пахло мужиком? В конце концов в служебных разъездах водить директриса могла бы и сама, купив для этого дешёвенькую «тачку» и ещё, может быть, выиграв от этого дополнительного штриха к своему имиджу самостоятельной, скромной бизнес-леди...

Лоскутова снова замолчала, продолжая думать о чём-то своём. Обычно в машине она была разговорчивее. Шаркову нравилось то, что нередко директриса рассказывала ему делах «Надежды». Говорила она при этом довольно откровенно, хотя многого, конечно, недоговаривала. Нравилось и то, что время от времени она спрашивала его о семье и казалась заинтересованной его домашними заботами, что не пыталась слишком явно флиртовать или кокетничать с ним, хотя иногда появлялась в чём-то легкомысленном, например, в очень короткой юбке или кожаных шортах и как бы не замечала, что неволью он задерживал взгляд на её соблазнительной фигуре.

Впрочем, порой хозяйка всё же изрядно смущала Шаркова. Это случалось, когда поздно вечером он привозил её домой слишком усталой или в подпитии. Лоскутова в задумчивом или

безвольно-расслабленном состоянии не спешила выйти из машины к подъезду своей безликой брежневской девятиэтажки, одной из нескольких однотипных в микрорайоне, и Шарков тогда внутренне напрягался. Не попросит ли проводить её до квартиры? А там, чего доброго, предложит ещё и зайти на минутку на чашечку кофе? Знаем, наслышаны про дамские штучки! Как же, он для неё – всего лишь обслуга, что-то вроде садовника или лакея, вполне подходящий объект для мимолётной прихоти! Тем более, что с Михалиным у неё, похоже, неблагополучно, судя по её словам о том, что от мужиков одни огорчения, сказанным в разговоре с кем-то из закройщиц. Это и неудивительно: безвольный пьянчужка Михалин наверняка одинаково не на высоте и как помощник в делах, и в качестве жиголо.

Мысль о романе с Лоскутовой не раз посещала его сознание, пробуждала чувственность. Эта темноволосая, стройная, длинноногая баба была, бесспорно, обольстительна. Но что потом, после нескольких минут страстного умопомрачения? Только что-то мучительное, ложное, невыносимое... Ему очень скоро пришлось бы уйти, искать где-то другую работу... Нет уж!..

Но слишком жестокими искушения никогда не были. Обычно после нескольких минут расслабленного оцепенения Лоскутова как бы приходила в себя, искоса окидывала Шаркова беглым взглядом, в котором ему чудилось лукавство, распахивала дверцу и выходила, небрежно бросив на прощание:

– До завтра!

Шаркова при этом неизменно кололо чувство вины: а всё же хотя бы из вежливости следовало предложить проводить её до двери! Ведь это он счёл бы своим долгом по отношению к любой знакомой! Мало ли что может случиться с ней в полутёмном подъезде, да ещё под хмельком... Но казалось непреодолимым препятствием то обстоятельство, что Лоскутова была его хозяйкой, что именно из её рук он получал свою зарплату. И потому всякий раз в подобных случаях он досадовал на неё за то, что она смутила его, заставила испытывать сомнения и стыд. «Она играет мной, как прежде барыни играли своими лакеями! Но для неё удовольствие от этого должно быть острее, поскольку она знает, что я был инженером!» – думал он порой почти с ненавистью.

Но кое-что в поведении Лоскутовой подкупало Шаркова. И прежде всего то, что хозяйка никогда не выходила из себя, не кричала на подчинённых и не унижала их (хотя за глаза могла любого обозвать «овцой», единственным бранным словом в её повседневном лексиконе, – возможно, не без расчёта на то, что её неодобрительное суждение дойдёт до предмета недовольства). А в личном общении она высказывала претензию всегда так мягко, что её слова звучали как выражение обиды, даже как жалоба. В подобные минуты Лоскутова казалась трогательно-женственной, уязвимой, по-хорошему несовременной. И за такое редкое в наши дни обращение многие подчинённые склонны были прощать ей даже нерегулярную и скудную выдачу зарплаты – до поры до времени, конечно. Шаркову, впрочем, она платила более аккуратно, прекрасно понимая, что семейный мужик не станет просто за её красивые глаза и иные внешние достоинства бить в служебных разъездах свою личную машину.

Всё же, несмотря на внешнюю мягкость Лоскутовой, каждый её подчинённый, не исключая Шаркова, испытывал смутный страх перед ней. Что-то в её облике и манерах слишком ясно подсказывало: эта шикарная баба решительна, наделена изворотливым умом и руководствуется отнюдь не общепринятыми представлениями о морали – а значит, непредсказуема и опасна. Многим приходило в голову ещё и то, что директорство в «Надежде» – явно лишь недолгий, промежуточный этап биографии Лоскутовой, что она – «птица» какого-то более высокого полета. Слишком необычно выглядела в роли директрисы второразрядного ателье дама с точёной фигурой и ярким, экзотическим лицом «египетской царицы». Хотя именно эти внешние достоинства, несомненно, помогали ей подчинять своему обаянию мешковатых, бесцветных портних.

Наблюдая за Лоскутовой, Шарков не раз думал о том, что в случае с ней подтверждается давно подмеченное им правило: для среднего русского человека любой начальник непременно должен быть наделён какими-то особыми признаками и качествами, действительными или мнимыми, возвышающими его над серой посредственностью, – лишь такого россиянин охотно, без колебаний и сопротивления признают своим лидером. Если же у подвизающегося в качестве вожака таких достаточно заметных отличительных особенностей нет, то лояльный подчиненный сам выдумает их или охотно поверит явному обману. Демонстрировал же Пугачев сподвижникам в качестве своих «царских знаков» оспины на спине. А подчинённым Лоскутовой и выдумывать ничего не надо было.

Так или иначе, смирение, с каким работницы принимали ужасные задержки с выдачей им нищенской зарплаты, было удивительным. Дерзить Лоскутовой не смел никто, и это при том, что с персоналом она рассчитывалась откровенно пристрастно, с «разбором»: с кем-то – в первую очередь, с кем-то – во вторую, а кому-то лишь снова и снова предлагала ждать. Иные буквально выпрашивали у нее свои начисленные ещё месяца три назад «кровные», какие-нибудь жалкие двести тысяч (когда буханка стоила две тысячи). На такие мольбы Лоскутова отвечала холодно, уклончиво, ссылаясь на то, что совсем ничего не удаётся продать в последнее время, что надо срочно уплатить налоги. Особенно настырным предлагала получить в виде зарплаты самые неказистые, полинявшие на прилавках изделия «Надежды», которые сама отчаялась продать.

Во всём, что на людях делала и говорила Лоскутова, была чрезвычайная убедительность, позволявшая ей гасить в зародыше любое недовольство подчинённых. Она играла так увлечённо, что, казалось, часто и сама верила в то, что говорила. Однажды, в ответ на чью-то очередную просьбу о выдаче зарплаты, Шарков услышал из уст директрисы нечто неожиданное, поразившее его:

– Да у меня самой дома есть нечего!

Что-то в тоне этих слов показалось ему искренним, правдивым, точным, хотя бы только в буквальном их значении. Представилось бессемейное, сумбурное житьё-бытьё Лоскутовой: неубранные комнаты, немытая посуда в раковине, пустой холодильник... Наверно, ей и в самом деле не всегда удается вовремя сходить в магазин за продуктами. Ведь она возвращается к себе после дневных хлопот, после хитроумных уловок и дерзкого вранья эмоционально опустошённая, выжатая, как лимон... Хотя за три года жизни в Ордатове после переезда из Севастополя можно было, конечно, устроиться с относительным комфортом. Для этого всего-то надо было завести домработницу и найти себе путёвого мужика. Но только отчего-то она совершенно не хотела налаживать свой быт и предпочитала терпеть неудобства почти походного существования и странную, стыдную связь с Евгением Михалиным – смиренным пьяницей с безвольными, покорными глазами продажной бабы.

Шарков не сомневался в том, что и наличных денег у директрисы частенько не хватало: слишком горячо, порой с нотками отчаяния говорила она об этом. Хотя изделия «Надежды» Лоскутова в его машине регулярно отвозила в магазины и на рынки. Ситуацию он понимал так: деньги, попадающие директрисе в руки, она спешила во что-то вложить, чтобы спасти их от чудовищной инфляции. Ну хотя бы в те таинственные квартиры, о которых вполголоса, неопределённо, но упорно судачили бабы в ателье...

Имела ли не по-женски крутая директриса «крышу»? Однозначного мнения на этот счет у Шаркова не было. Явных признаков каких-то контактов Лоскутовой с криминалом не замечалось. Но казался многозначительным тот факт, что не страдал от грабежей её круглосуточный продуктовый киоск, приютившийся в самом дальнем, глухом углу района в окружении страшноватых двухэтажных трущоб довоенной постройки. Объяснение напрашивалось самое простое: Лоскутова тихо платила требуемую «дань». Но ателье – не киоск. Что могли потребовать бандиты с жалкого, дышавшего на ладан заведения? Единственная настоящая ценность

ТОО «Надежда» – право льготного выкупа в свою собственность закреплённой за ателье нежилой площади в тысячу с лишним квадратных метров, всего цокольного этажа четырёхсекционной девятиэтажки. В семидесятых годах здесь размещался целый филиал швейной фабрики. Сейчас для портних и швей за глаза хватало и половины имевшихся помещений, а в остальных вели торговлю магазинчики арендаторов: мебельный, продовольственный, канцелярских принадлежностей и промтоваров. Нашлась просторная комната и для частной швейной мастерской «Элегант» Лоскутовой.

Впрочем, если бы вся эта коммерческая деятельность привлекла блатных, то им пришлось бы иметь дело с настоящим хозяином: более половины уставного капитала «Надежды» принадлежало Сергею Чермных – генеральному директору АОЗТ «Кредо». Ему Лоскутова служила в качестве наёмного директора ателье, умудряясь при этом создавать для портних видимость того, что она защищает их интересы. Так что рассчитываться с бандитами за тихое существование «Надежды», если в этом была необходимость, должен был Чермных. Хотя и Лоскутова могла, проворачивая свои делишки в собственной швейной мастерской и киоске, иметь контакт с блатными. Словом, темна вода в облацех...

В памятную для Шаркова пятницу обошлось, паче чаяния, без штрафа. Доехали благополучно. Лоскутова вышла из машины и походкой упругой, стремительной, как бы рассекая невидимую волну, направилась в ателье. Шарков привычно полюбовался её фигурой, втянул в себя воздух, хранивший пряные ароматы её сигарет, духов и женского тела, и задумался: как провести полчаса до собрания? Этот слишком небольшой срок невозможно было использовать с толком, оставалось только ждать. Будь он балагуром-бабником, направился бы сейчас в цех к портнихам или к закройщицам в их комнату. Но забавлять шутками толпу баб простых и грубоватых он стеснялся и в молодые годы, тем более не к лицу это ему на пятом десятке. Чтобы не казаться женщинам совсем уж необщительным букой, он заходил иногда в небольшую комнату рядом с кабинетом Лоскутовой, где обретались специалисты: очень высокая и нервная главбух Елена Юрьевна Клевцова, маленькая, миловидная Оля Леханова, занимавшая должность товароведа, и технолог швейного цеха Вера Акимова, совсем молодая, только что из колледжа. Туда направился он и на сей раз.

Приоткрыв дверь с надписью «Бухгалтерия», Шарков сразу почувствовал облегчение: на своём рабочем месте была только одна Оля Леханова, его любимица. С ней ему было легко. В её взгляде почти всегда светилась тихая радость молодой женщины-матери, счастливой в семейной жизни. Оля и на сей раз, несмотря на явную занятость, на миг подняла голову от своих накладных и улыбнулась ему. Наверно, она готовила какую-то справку для Лоскутовой. Он сел поодаль. Минут пять они молчали, затем Оля, наверно, решила заговорить: всё-таки Шарков был здесь гостем, и из вежливости ему надо было уделить внимание. Она снова подняла на него взгляд, теперь озабоченный, и спросила:

– Константин Викторович, вы тоже будете на собрании?

– Лоскутова сказала, что нужно быть.

– А знаете, о чём пойдет речь?

– Нет, не слышал.

– Чермных объявит о том, что выкупил помещение «Надежды».

– В самом деле? – удивился Шарков, который слышал от Лоскутовой, что Чермных по частям вносит деньги для выкупа, но до сих пор не представлял, что вопрос может решиться так скоро.

– И этим, конечно, дело не ограничится: наверняка он сразу предъявит претензии «Надежде».

– Так ведь за Чермных записано более половины уставного капитала «Надежды», он здесь хозяин, – ещё более удивился Шарков, на сей раз откровенности Оли, – что же, он предъявит претензии самому себе?

– Дело в том, что «Надежда» – это фирма с ненужным Чермных балластом, швейным производством, – тихо пояснила Оля, чуть порозовев от волнения. – К тому же товарищество с ограниченной ответственностью с тридцатью учредителями – это для него не очень удобная форма деятельности, поскольку все важные действия приходится оформлять решениями общих собраний. Ему надо «Надежду» обанкротить, а её помещение забрать.

– Но разве это возможно? У «Надежды» большая задолженность по налогам, по взносам в пенсионный фонд, за отопление. Почему все квадратные метры достанутся Чермных?

– Потому что он по соглашению с Лоскутовой оформил суммы, выплаченные им для выкупа помещения ателье, как кредит под залог этой недвижимости. В случае банкротства товарищества он как залогодержатель имеет преимущество перед другими кредиторами. К тому же для него долги «Надежды» не так уж велики, в крайнем случае он при ликвидации товарищества может выплатить их сам, на определённых, выгодных ему условиях.

Шарков замолчал, обдумывая услышанное. Его самолюбие было уязвлено тем, что юная, розовощёкая Оля знает, оказывается, о хозяйских делах значительно больше, чем он – «друг» Лоскутовой и формально её заместитель! Но, главное, что следует из сказанного? Обанкротив «Надежду», портних лишат статуса совладелец ателье, да ещё и рабочих мест в придачу – такой вывод напрашивался сам собой. Можно ли что-то предпринять в подобной ситуации? Мысленно формулируя для себя этот вопрос, он изначально создавал его отвлечённый, теоретический характер. И на миг как чисто умозрительная возможность ему представилось такое: вот он выступает на собрании и открывает женщинам глаза, разоблачает Чермных... Ну и что дальше? Чермных как собственник более чем половины уставного капитала «Надежды» в любом случае единолично примет нужное ему решение, коль скоро выполнено формальное требование: проведено общее собрание учредителей, на котором ему одному принадлежит большинство голосов.

Единственный, да и то очень сомнительный выход – всем трудовым коллективом «Надежды» обратиться в комитет по имуществу с просьбой отменить приватизацию ателье. Но уже пять лет минуло с той поры, как тогдашняя директриса Бубнова уговорила портних принять в число учредителей ТОО Чермных, как оформила на него за какие-то подачки и щедрые посулы свыше половины уставного капитала. Вскоре после этого, в том же 1992 году, Бубнова ушла на пенсию, и делами в ателье стал заправлять Чермных. Пустили козла в огород! С того времени дела товарищества пошли все хуже и хуже. Самые энергичные давно ушли из «Надежды», не выдержав многочисленных задержек мизерной зарплаты. А остальным где найти силы противостоять инерции распада?

Думая о Чермных, Шарков представлял себе паука, что неспешно, терпеливо, тщательно плетёт свою паутину в расчёте на добычу через довольно долгое время. А как только в сеть попадётся мушка, живо опутает её и умертвит. Как на удивление быстро, безошибочно учитывал Чермных все открывавшиеся лазейки в новом, постоянно меняющемся, противоречивом законодательстве! Как смело пренебрегал серьёзным риском потери всего в случае успеха нового ГКЧП! И странно, что столько изошрённых расчетов, столько энергии ради всего лишь нижнего этажа старой, замызанной девятиэтажки в спальном районе... Никакого шикарного торгового центра здесь не будет никогда. Чермных, в сущности, честно добыл это «добро», отняв его у тех, кому оно по-настоящему не нужно. Ведь портнихи – не хозяйки, у них самих всегда будет если не один, так другой хозяин. Те гроши, которые им платила Лоскутова, они получают и на любой другой работе. А здесь, на отшибе, просто не требуется ателье на тысяче с лишним квадратных метров...

Только после того, как стало ясно, что защищать некого и незачем, Шарков сообразил, что пытаться противостоять Чермных просто безнадежно, хуже того – самоубийственно. Ведь тот будет сражаться за то, что уже считает своим достоянием и на что потрачено столько усилий и денег, насмерть, не затрудняясь в выборе средств! В ателье всем слишком памятно, как обо-

шёлся Чермных с директором, что был до Лоскутовой. Простого мужика, работавшего прежде шофером, пожелали видеть своим начальником бабы, и Чермных поначалу не стал им перечить, в расчёте, наверно, на то, что «водила» в должности директора поведёт себя скромно, что с ним нетрудно будет столкнуться. Однако новый начальник решил вести себя независимо и попытался передать помещения под магазинчики новым арендаторам, чтобы самому получать с них арендную плату. Тогда Чермных явился к наглецу в кабинет и на глазах нескольких случайных свидетельниц одним ударом ноги вышиб из-под него стул, приказав убираться. И тот, ошеломлённый не столько падением на пол, сколько ужасным унижением, не посмел послушаться и даже не заикнулся о несоблюдении формальности – о непроведении собрания учредителей, необходимого по уставу для смещения директора. Он просто заковылял прочь – потрясённо, сконфуженно, как побитая собака. После этого всем в «Надежде» стало ясно, что с Чермных шутки плохи, что шеф способен и учинить мордобой, и нанять бандитов...

Шарков уже с досадой смотрел на Олю: зачем ему знать всё это? А та продолжала с лёгким волнением, как если бы речь шла о перипетиях увлекательного телесериала:

– Восемьдесят миллионов за тысячу двести метров торговой площади – это очень выгодно. Квартира в центре стоит больше. Сначала комитет по имуществу оценил помещение оценили значительно дороже, но Лоскутова сумела добиться снижения цены по причине бедности «Надежды». Мол, швейное предприятие призвано обслуживать население городской окраины и давать кусок хлеба полусотне женщин. Но скоро этими метрами можно будет распорядиться по-другому. Когда в девяносто втором учреждалось товарищество и ему в пользование передавалась производственная площадь с правом выкупа, было сразу определено главное условие для хозяев помещения: сохранять швейное производство на 70 процентах квадратных метров в течение пяти лет. И этот срок истекает через три недели, в конце декабря. Тогда Чермных вполне на законном основании сможет прекратить существование «Надежды».

Разговор уже слишком тяготил Шаркова, но всё же он решился задать один вопрос – и не только из вежливости: его на самом деле интересовало, что думает об этом Оля.

– И Лилия Витальевна ничего не сможет сделать?

– А что она может, если Чермных вправе своей властью менять директоров? Он ещё осторожничают, проявляет по старой советской привычке какое-то уважение к коллективу, старается убедить женщин, понравиться им. Наверно, опасается, что бабы могут сыграть не по правилам: взбунтоваться, обратиться в прессу, в суд, к президенту с требованием сохранить их рабочие места, отменить приватизацию, превратить «Надежду» в муниципальное предприятие. Хотя наверняка он, став полновластным хозяином помещений, без ущерба для себя выделит под швейное производство какой-то закуток. Какую-то каморку с окном во двор, ненужную для торговли. Для тех, кто пожелает остаться. Скорее всего, для той же Лилии Витальевны с её ИЧП «Элегант». Она, возможно, слегка расширит своё предприятие, заберёт то, что останется от «Надежды». Или, вернее, тех, кого выберет.

Это было, конечно, праздное, зряшное, опасное любопытство, но все-таки Шаркову захотелось прояснить ещё один вопрос, раз уж Оля была столь откровенна:

– Для меня самое удивительное то, как Чермных стал в девяносто втором году главным учредителем «Надежды»...

Оля слегка пожалала плечами и ответила неуверенно:

– По идее Чермных что-то заплатил или хотя бы пообещал. Однако никто из работниц «Надежды» ничего толком объяснить не может, что и кому было уплачено или обещано. У всех в памяти осталось только смутное воспоминание о том, что им очень много посулили на собрании Чермных и тогдашняя директриса Бубнова: будто под началом Чермных дела ателье пойдут не просто хорошо, а на учредительниц ТОО прольётся золотой дождь. А скоро Бубнова ушла на пенсию, и не с кого стало спрашивать. О Бубновой, впрочем, известно, что дочь её приобрела неподалеку магазинчик.

– Об этой дочке с магазинчиком я уже слышал, – сказал Каморин печально и, помолчав, зачем-то задал ненужный вопрос:

– На собрании не думаете выступить?

– На собраниях я секретарь, мое дело – вести протокол...

– Ну и правильно! – одобрил Шарков. – Понимаете, «Надежда» всё равно обречена. И дело не только в том, что портнихи готовы поверить каждому, кто пообещает им золотые горы, – дело в духе времени, в настроениях, которые господствуют повсеместно. Семьдесят лет было одно и то же: план, дефицит, пустые прилавки, безраздельная власть коммуны. Возвращения в тоскливое прошлое никто по-настоящему не хочет. Сейчас время новых хозяев жизни вроде Чермных. Все или почти все готовы уступить им дорогу. Пусть новоявленные господа зачастую наглы и бесстыдны, а всё же именно с ними связаны наши расчеты на лучшее: авось не всё доставшееся им даром они прокутят или переведут за границу, авось наладят и у нас рыночную экономику, и станет когда-нибудь благодаря им жизнь в России не хуже, чем в Америке или Швеции.

– Этого не будет никогда, – блеснув глазами, тихо возразила Оля. – Это же не в характере наших людей. Они обязательно будут жить иначе, чем американцы или шведы: грешно, беспутно, некрасиво, жестоко. Пусть не все, но очень многие. За примером далеко ходить не надо. Вы знаете, что Михалин позавчера разбил машину Лилии Витальевны?

– Новенькую Audi? – изумился Шарков. – Нет, не слышал. А сам-то он жив?

– Целёхонек! А машину разбил вдребезги, так, что восстановлению не подлежит. Врезался спьяну в фонарный столб!

Ага, вот почему с утра Лоскутова была не в духе и так долго собиралась! – молча догадался Шарков.

– Говорят, Михалин получил отставку, – добавила Оля.

Шарков стыдливо отдал себе отчёт в том, что рад несчастью хозяйки. Не желая выдать свое злорадство, он перевёл разговор в иное русло:

– Что ж делать! Тяга к разгулу, насилию и дикой воле у нас в крови. И ещё есть в нас склонность предаваться чему-то безгранично, безоглядно, зачастую опрометчиво, сразу отрекаясь от прежнего. В считанные дни россияне отказывались и от язычества, и от самодержавия, и от коммунизма. И этот скачок очертя голову к новому мы ещё подчеркиваем переменами в стиле поведения и манере говорить. Вот, к примеру, новые дикторы телевидения и радио вещают, как правило, либо отвратительно-слащавыми, холуйскими голосами, либо тоном капризной, жеманной барыни. Особенно гадко произносят рекламу: почти всегда этакой разухабистой скороговоркой бойкого, напористого хама! Специально, наверно, подбирают с такими голосами да ещё дополнительно натаскивают. То есть и этим задается новый стиль самовыражения, в полном соответствии с духом эпохи, в которой главные действующие лица и герои – выжиги-нувориши.

Распахнулась дверь, и порывистой походкой в комнату вошла главбух Елена Клевцова – высокая, сухопарая блондинка лет тридцати с красными пятнами на лице и блестящими от слез глазами. Терпко пахнуло женским потом. Увидев Шаркова, она еле слышно поздоровалась, бессильно опустилась на свой стул, уперлась локтями в стол, а лицо спрятала в раскрытые ладони. Наверно, для того, чтобы не видно было слёз на глазах – догадался Шарков.

– Что там у Лоскутовой? Наверно, Чермных приехал? – осторожно спросила Оля.

Клевцова звучно проглотила слюну и ответила с трудным усилием, сквозь подавленный всхлип:

– Чермных собрал сейчас совет учредителей и взял на меня за то, что в последнем балансе я показала приобретение помещения не за счет полученного от него кредита, а как его взнос в уставный капитал. А Лоскутова вдруг сказала, что не просила его выкупать эту тысячу квадратных метров. Ну уж и вспылел он тогда! Чуть не матом ругался! И больше всех

досталось мне! Если я буду упорствовать, он уволит меня с порочашей записью в трудовой, а Лоскутова не защитит!

– Ну, положим, так сразу не уволит, – спокойно возразила Оля, – сначала ему нужно будет уволить Лоскутову.

На лице Клевцовой появилась горькая, язвительная усмешка, она энергично, с негодованием встряхнула льняными кудрями:

– Да ты не знаешь, как бухгалтеров подставляют! Будешь стараться угодить своему начальнику и в итоге окажешься крайней!

– Однако уже двадцать пять минут четвёртого, – сказала Оля, взглянув на часы и поднимаясь, – пора занимать места.

Шарков с облегчением встал и направился к выходу вслед за Олей, по её примеру захватив с собой стул, а Клевцова осталась сидеть, чуть слышно посапывая, устало щуря близорукие глаза, воспалённые от невыплаканных слез.

Собрание, как всегда, проводили в помещении швейного цеха – самом большом в ателье. Швей уже выключили свои машины и терпеливо дожидались, оставаясь на своих рабочих местах, пока остальные принесут стулья и рассядутся. Вошли и заняли места за столом мастера, в «президиуме», четыре портнихи из совета учредителей «Надежды», приемщица заказов Акопова, директриса Лоскутова и немолодая, некрасивая Лариса Крохмаль, о которой все знали только то, что она экономист и что-то вроде консультанта у Чермных.

В приглушённом гуле женских голосов звучало тревожное, злое оживление. Когда вошел Чермных, приземистый, грузный, с обширной плечью, придававшей ему облик мыслителя, все голоса сразу смолкли. Живой, насмешливый взгляд его чёрных глаз быстро окинул собравшихся, никого особо не выделяя. Затем он медленно прошел через цех к столу мастера, где для него было приготовлено место. Однако не сел, а остался стоять, сверля всех взглядом. Почему-то все перед ним опускали глаза, даже самые бойкие и злые на него бабы.

Несколько мгновений все молчали. Наверно, ожидали, что Зоя Акопова как председатель совета учредителей объявит, по обыкновению, повестку дня и предоставит слово тому, чьё имя первым значится в списке докладчиков. Но ей не дали никакого списка, только сообщили, что выступит Чермных, а о чём именно – не сказали. Впрочем, она понимала, что «Надежда» гибнет, что хозяин вколотит сейчас, может быть, последний гвоздь в гроб товарищества. Помогать ему в этом она не хотела и потому молча сидела за столом президиума, потупив взгляд, напряжённая и злая. Лоскутовой пришлось проявить инициативу:

– Слово для доклада – Сергею Борисовичу! – объявила она.

Вместо того, чтобы начать речь, стоя у стола, Чермных неторопливо двинулся в глубину помещения, между рядами швейных машин. Портнихи, почти все немолодые, сутулые от долгого согбенного корпения над шитьем, смотрели на хозяина исподлобья, настороженно. Его голос зазвучал сначала тихо, задумчиво, как если бы он размышлял наедине, проговаривая вслух сокровенные мысли:

– Вы все уже знаете, наверно, что на днях я выплатил в комитет по имуществу остаток выкупной платы за помещение, занимаемое товариществом «Надежда». Теперь я хочу вернуть эти деньги. Мы в совете учредителей сейчас битый час говорили об этом, и я вижу, что люди здесь плохо понимают простые вещи. Если вы взяли в долг, надо отдавать. У вас трудное положение? Значит, плохо работаете! Никто не обязан давать вам блага просто за красивые глаза. Что я имел от «Надежды»? Да я здесь даже брюк себе не сшил! И вот теперь учредители желает, чтобы я просто подарил им те десятки миллионов, которые пошли на выкуп помещения! Не выйдет! – голос его вдруг взвизгнул. – Так, блин, не бывает!

Чермных прошел ряд и оказался за спинами портних. Женщины встревоженно закрутили головами, косясь на него, как если бы рядом с ними был пьяный, от которого можно было

ждать неприятной выходки. А он, слегка помедлив, как если бы в раздумье, перешел на другой ряд и двинулся назад, к столу «президиума».

– Деньги на выкуп получены от арендной платы за наши помещения, это, в сущности, наши деньги, – почему-то вдруг тонким, плачущим голосом возразила Лоскутова. – И вообще я хочу сказать, что не могу здесь больше работать! Устала! Ищите нового директора!

– Не надо, Лилия Витальевна! – как бы вскипая гневом, закричал Чермных. – Год назад вы подписали со мной договор о том, что я получаю с арендаторов плату за аренду и коммунальные услуги и выкупаю у комитета по имуществу помещения товарищества. Но комитету я заплатил значительно больше того, что получил от арендаторов, поэтому сейчас требую возврата моих средств. Сами вы необходимых для выкупа денег не собрали бы никогда. Нечего, блин, мне мозги пудрить! Хм-м! Хр-р... – он закашлялся и крякнул, прочищая горло.

Достигнув стола, Чермных немного помедлил, как бы раздумывая: сесть или не стоит? Затем, решив, видимо, остаться на ногах, он повернулся лицом к швеям. Его злой взгляд беспокойно обшаривал пространство цеха, и женщины смущённо опускали глаза.

С удивлением Шарков думал о том, что сейчас перед ним разыгрывается зрелище наподобие нанайской борьбы: Чермных, единый в двух лицах – хозяина и кредитора «Надежды», – сначала навязал товариществу неподъёмный долг, а теперь банкротит за неуплату, «вышелушивает», так сказать, чистые активы от ненужного балласта – швейного производства вместе с людьми. И при этом нисколько или очень мало сомневается в том, что все покорно примут происходящее. Самое печальное – то, что расчёт его, пожалуй, верен. Хотя бабам очень естественно было бы сейчас всем вместе, «хором» возмутиться, громко запротестовать – но потенциальный протест умело «сливает» Лоскутова: она вроде бы в этом самая активная, лидерша, однако дальше словесного выражения недовольства не пойдёт. К тому же всех завораживает, вселяя безвольную робость, нахрапистая самоуверенность Чермных. Разве не потому так нагл Чермных, думает каждая, что поступает по закону – если не полностью, то в основном, за изъятием каких-то маловажных частностей, в которые всё равно никто вникать не станет. А значит, ничего не оспорить, не высудить у него. Тем более, что вульгарное «блин!» в устах такого лощёного господина звучит жутким намёком не только на площадную брань, явно готовую сорваться с его языка, но и на что-то несравненно худшее: на угрозу расправы с непокорными при помощи бандитов, например. Ведь о том, что «новые русские» имеют обыкновение выколачивать долги руками уголовников, наслышаны все. А уж от выжиги Чермных иного ждать не приходится.

Шаркову вспомнился вид конторы Чермных, помещавшейся в старом двухэтажном здании бывшей общаги с облупившейся штукатуркой, деревянной скрипучей лестницей и деревянными же перекрытиями. Всякий раз, когда приходилось завозить туда Лоскутову, Шарков удивлялся тому, что своим местопребыванием президент АОЗТ «Кредо» избрал столь убогое, обшарпанное строение в самом дальнем углу района, арендуемое у радиаторного завода. Это обстоятельство слишком не вязалось с привычным представлением о преуспевающем «новом русском». Что, разве нельзя было хозяину немалой фирмы найти офис поприличнее? И это при явной склонности Сергея Борисовича пускать пыль в глаза! Объяснение напрашивалось одно: Чермных – жуткий скряга, способный на всё ради денег!

Пока Чермных хрипел и откашливался, озабоченно трогая горло, поспешила высказаться пришедшая с ним сухопарая, блёкляя Лариса Крохмаль:

– А что это за фокус с балансом? Вы не желаете показывать задолженность или просто у вас неграмотный бухгалтер? По кредиту семьдесят пятого счета отражаются взносы учредителя в уставной капитал согласно уставу и учредительному договору. А у вас уставной капитал – 200 тысяч, и эта сумма полностью внесена в девяносто втором году...

– Мы вас не просили выкупать наше помещение! – воскликнула сорокалетняя швея Зинаида Колганова, худая, темноволосая, горбоносая, похожая на кавказку. – Это вам было нужно, чтобы разорить «Надежду», а не нам!

– А вы знаете, что был подписан договор о выкупе с вашим директором? Лилия Витальевна его подписала! Так что извольте выполнять! У вашего товарищества огромные долги перед бюджетом, пенсионным фондом и тепловыми сетями, которые из-за пеней растут ежедневно, – снова заговорил Чермных. – Почему вы не расплачиваетесь?

– Взыскание долгов может быть обращено на имущество участников товарищества, – встала Лариса Крохмаль. – В том числе на квартиры и личные вещи.

С сомнением, как показалось Шаркову, покосившись на Крохмаль, Чермных продолжал:

– Единственный способ сохранить в этом помещении швейное производство и ваши рабочие места – признать должным образом права компании «Кредо» как основного кредитора товарищества. Тогда я могу гарантировать вам продолжение работы.

Из глубины зала раздался резкий женский голос, в котором слышалось удивление собственной отчаянной смелости (Шарков разглядел, что говорила швея Грядунова, мать троих детей, казавшаяся из-за какой-то болезни измождённой, почти старухой):

– В девяносто втором году, когда вы пришли сюда, нас было семьдесят человек. И с тех пор с каждым годом нас становится всё меньше и меньше. Вы нас не просто выживаете из этих стен, а сживаете со свету!

– Блин! – взорвался Чермных. – Вы плохо работаете и потому дела у вас идут плохо! От вас уходят и клиенты, и ваши же сотрудники, которые не довольны ситуацией и желают зарабатывать больше! Это ваша проблема! Работайте лучше! Я не могу содержать вас за свой счет! Но помочь, чем в силах, готов. Поскольку у вас трудности со сбытом, я предлагал Лилии Витальевне шить рабочую одежду, которую мог бы реализовать энергетикам методом взаимозачёта за ваши долги. Но Лилия Витальевна этого не пожелала...

Чуть помедлив, добавил уже чуть спокойнее, но тем отчётливее в его напряжённом голосе зазвенели металлические нотки:

– Сейчас, Лилия Витальевна, я требую от товарищества прежде всего вот чего: признать и правильно отразить в балансе задолженность «Надежды» перед «Кредо». Я понимаю: вы хотели покрутить, переиграть ситуацию к собственной выгоде. Хотя договор, который мы заключили, совершенно ясен. Товарищество на совершенно чёткой правовой основе привлекло на определенный срок мои деньги и теперь должно их вернуть. Вы что, пытаетесь меня «нагнуть»? Если не желаете неприятностей, если намерены вместе со своими женщинами продолжать здесь работать, кончайте эту игру! Почему все считают, что предприниматель должен давать им деньги ни за что? Мало того, что власти всех уровней требуют этого, причём до смешного: вневедомственная охрана пишет письмо: «Просим вас оказать помощь...» Один хозяйствующий субъект – другому! Ха-ха!

Кратко хохотнув, Чермных продолжал:

– А теперь ещё и ваше товарищество! Все дело в том, что наше государство давным-давно превратило людей в иждивенцев, которые только и ждут: кто же их накормит, кто же напоит, оденет, обуеет, даст жильё и прочее, и прочее. Людей надо перевоспитывать! Я за порядок и справедливость, а не за дурдом, который здесь творится. Я не хочу вступать на «тропу войны», пытаюсь договориться с вами на нормальном языке, сохранить нормальные, достойные отношения. Если это не получится, буду искать и другие способы, в том числе и судебные. Мне бояться нечего! Я делаю деньги не на каких-то наркотиках, а занимаюсь нормальным, легальным бизнесом!..

Чермных говорил ещё долго. Его речь звучала горячо, убедительно, гладко – словом, носила отпечаток ораторского дарования. Этим она казалась необычной для портних, привыкших слышать скучные, по бумажкам, выступления косноязычных докладчиков вроде прежнего

директора, парторга и профсоюзных активистов. Они даже почувствовали себя польщёнными и смущёнными оттого, что яркий, интересный мужчина принимает так близко к сердцу проблемы их убогого заведения. Он походил на революционеров из старых фильмов – на героев, что шли на жертвы и подвиг ради необходимого, святого дела, пусть и не совсем понятного, на первый взгляд, но обещавшего в конечном счёте справедливость и лучшее будущее всем. Казалось очень естественным уступить этому смелому, талантливому напору. Тем более, что каждой из них терять особенно было нечего, разве что один бумажный учредительский процент в уставном капитале убыточного предприятия, да грошовую зарплату, едва позволявшую не умереть с голоду. Разве что Лоскутова, может быть, чем-то возразит?

Бабы тревожно переглядывались, вопросительно посматривали на Лоскутову. Почти все они были уверены в том, что Лоскутова могла бы очень основательно оспорить утверждения Чермных, всерьёз побороться с ним, пусть и в своем качестве нанятого директора, не учредителя. Да ей достаточно было бы только шепнуть своим работницам, что надо делать, а уж они её не подвели бы! Они же верят ей, как это ни странно, хотя знают про её многочисленные квартиры и видят её любовника на должности зама. Для них она одновременно и ловкачка, и заступница. Бабы рассчитывают на то, что хотя бы из своих собственных интересов, дабы остаться хозяйкой «Надежды», она потягается с Чермных. Но именно тогда, когда от неё ждали решающего смелого слова, Лоскутова понуро задумалась о чём-то или просто затаилась на своём месте на самом краю стола президиума.

Против обыкновения Чермных в конце своего выступления не предложил собравшимся принять резолюцию. Некоторые переглянулись удивлённо: для чего же их собирали? Впрочем, несомненный эффект от услышанного и увиденного испытали все. Он был сродни театральному: то же будоражащее, мучительное и вместе с тем отчасти радостное напряжение, постепенно нараставшее в ожидании своего финального разрешения, катарсиса. Только сейчас разрядка была умышленно отсрочена. Видимо, Чермных хотел, чтобы какая-то работа подспудно совершилась в душах женщин, чтобы они сами пришли к неизбежному выводу. Многие вопросительно смотрели на Лоскутову. Она, сразу постаревшая от горьких складок, проступивших у рта, поднялась и сказала устало:

– Давайте пока на этом закончим. А что делать дальше – мы это обсудим на совете учредителей и потом вынесем на общее собрание.

Женщины шумно задвигали стульями, поднимаясь. Каждая испытывала радость и от того, что собрание, обещавшее быть долгим и тяжёлым, наконец завершилось, и от пережитой нервной встряски, в которой было нечто сладко-надрывное, освежающее, похожее на то, что чувствует зритель после взволновавшего его спектакля.

Выходя вместе со всеми, Шарков глазами искал Лоскутову. Директриса о чём-то разговаривала с Грядунной – той самой болезненного вида портнихой, которая посмела возразить Чермных. Ну конечно же, хозяйка будет теперь ещё долго успокаивать возбуждённых баб, с тоской подумал Шарков. А потом ещё напьётся на предстоящем застолье в закройной. Для неё ведь всё клином сошлось: передряги в ателье, разбитая машина и разрыв с Михалиным. Может быть сегодня, её, пьяную, он должен будет из машины тащить до её квартиры. И она при этом будет ронять ему на грудь голову с необычным, мускусным, душно-сладким запахом жёстких волос, томно сощуриив свои азиатские, с поволокой, очи... По возвращении же домой в необычно позднее время ему придётся ещё как-то тушить очередной семейный скандал...

Чтобы не торчать в коридоре в ожидании обещанного застолья, Шарков направился в комнату специалистов. Там все были в сборе. Белокурая, длинноногая технолог Вера Акимова прихорашивалась перед трюмо. Завидев Шаркова, она посмотрела на него чуть с вызовом, как смотрят на мужчин очень молодые девушки, для которых этот неосязаемый, эфемерный контакт «на равных» со взрослым представителем противоположного пола ещё не утратил своей

волнующей новизны. Шарков, у которого дочь уже вступала в такой же возраст, ощутил укусы тревоги: с кем-то вот так же переглядывается его Светка?..

Товаровед Оля Леханова сидела с потупленным взором, снова перебирая свои бумаги. Шаркову показалось, что она предвкушает интересный разговор о собрании. Чем дальше, тем больше не нравилась ему сегодня вкрадчивая, ловкая Оля с её обострённым любопытством к обреченному делу, к процессу угасания. Это же сродни интересу к мертвечине, к трупу. И всё вокруг – пыльные, выцветшие шторы, мутное зеркало трюмо, железный стояк вешалки, весь увешанный аляповатым тряпьем, – казалось до ужаса неживым, ненастоящим, оскорбительно-нелепым, ненужным. Впору было заорать в мучительном недоумении: ну что же я делаю здесь?!

Главбух Клевцова всё ещё казалась взвинченной. Она то и дело отрывала взор от бумаг, разложенных на столе, и беспокойно смотрела вокруг, явно во власти какой-то тяжёлой мысли или переживания. До сих пор эта рослая, плоскогрудая блондинка была неприятна Шаркову. «Бледная немочь» – так мысленно называл он ее. Но сейчас он почувствовал к ней симпатию. Шарков уселся на свободный стул рядом со столом Клевцовой и решил помочь ей облегчить душу:

– Неприятности, Елена Юрьевна? Баланс переделывать – это, наверно, много работы?

Клевцова сначала взглянула на Шаркова запальчиво, ожидая, может быть, прочесть в его взгляде насмешку, но, всмотревшись, смягчилась и заговорила охотно, с надеждой на сочувствие:

– Переделывать баланс – это вздор. Горе в том, что «Надежда» долго не просуществует после того, как в отчетности признает свою задолженность перед «Кредо». Чермных быстро придушит её. Присутствовать на похоронах фирмы – это не для моих нервов. К тому же Лоскутова не вступилась, я оказалась крайней. А ведь она сама говорила мне, чтобы я показала деньги, выплаченные Сергеем Борисовичем за помещение, не как кредиторскую задолженность, сама же назвала и сумму, а документов никаких не дала. Помню, я предупреждала ее: мне эти миллионы приткнуть некуда, разве что на семьдесят пятый счет «Расчеты с учредителями», но это будет неправильно. А она: «Давай на семьдесят пятый, чтобы мы не были ему должны». Теперь мне остаётся только уйти...

Клевцова кратко всхлипнула и замолчала, страдальчески наморщив нос и сжав губы. Шарков, уже досадуя на себя за то, что завел этот разговор, попытался утешить её:

– Ну вы-то без работы не останетесь. Не то что наш брат технарь...

Дверь распахнулась, на пороге показалась Лоскутова. Не входя в комнату, она позвала:

– В закройной накрыт стол, приглашаю.

Шарков с тоской подумал о том, что для него, водителя, сейчас оправдается сказочное присловье: «По усам текло, а в рот не попало». Ведь спиртное он сможет лишь пригубить, и если на столе не окажется газировки, то закуску придётся жевать всухомятку... Тем не менее он в ответ на призыв директрисы первый поднялся и направился в соседнюю комнату, за ним нестройно потянулись женщины.

В закройной четыре рабочих стола закройщиц, составленные вместе, образовали один огромный стол, на котором красовались бутылки, рюмки и тарелки с закуской. На подобные застолья по разным праздничным поводам привычно собиралось руководство ателье, включая конторских и закройщиц, считавшихся своего рода «рабочей аристократией». И сейчас все были в сборе, кроме приёмщицы заказов Зои Акоповой: ей нужно было принимать посетителей. Шаркова удивило то, что вместе с остальными на этот раз восседал и Чермных, радостно, возбуждённо блестя карими глазами. Уже ни тени недавнего ожесточения не было на его лице. С обострённым интересом Шарков смотрел на хозяйку и почему-то совсем не удивлялся тому, что сейчас она выглядела совершенно спокойной, даже удовлетворённой, без малейшего

намек на слёзы, всего лишь час назад отчетливо звучавшие в ее голосе и вот-вот, казалось, готовые пролиться. Улыбаясь, она обвела всех взглядом и объявила повод для застолья:

– Мы собрались, чтобы «обмыть» выкупленное помещение.

– Так ведь у «Надежды» его отберут, мы же банкроты, – как бы спроста удивилась Вера Акимова (привыкшая к тому, что по молодости ей подобная наивность сходила с рук).

– Ателье останется здесь, в этом помещении, которое будет принадлежать не кому-то, а мне – главному соучредителю «Надежды», – спокойно, весело отозвался Чермных. – Так что давайте выпьем за успех нашего общего и совсем не безнадёжного дела.

Всё-таки женщины по-прежнему с тревогой посматривали на Чермных, покоробленные его грубостью на собрании. Разговор за столом не клеился. Чтобы снять напряжение, Лоскутова включила магнитофон. Под разухабистые звуки шлягера Надежды Бабкиной «А я мальчиков люблю» Чермных склонился к Лоскутовой и что-то тихо прошептал ей. Та, покрасневшая от выпитого вина, приглушённо засмеялась:

– Да ну вас, Сергей Борисович! Какой там ночной клуб, какой театр! Вечером мне бы только доползти до своего порога. У самой каждый день такой театр, что уже ни на что сил не хватает!

У Шаркова от неожиданности ёкнуло сердце: вот это откровение! Лоскутова призналась в том, что разыгрывает спектакль! И так это совпало с его мыслями о том, что на самом деле происходит в «Надежде»: что события разворачиваются здесь по тщательно продуманному и жестокому сценарию!

Задумавшись, Шарков не сразу уловил устремлённый на него взгляд Чермных. Тот, всматриваясь в него поверх бокала, с насмешкой спросил:

– Заскучал оттого, что нельзя выпить? А ты рискни!

– Я ему рискну! – отозвалась за Шаркова директриса. – Пусть рядом со мной хоть один человек не пьёт. От пьяниц да и вообще от мужиков одни огорчения.

– Да, слышаны про твоего зама. Как он?

– Ни царапины. А машина – вдребезги. Лучше бы наоборот.

– Печально. Но ты же без машины не останешься. Так что не стоит хандрить. А то некрасиво, когда вечерами изящная дама тоскует одна с бутылкой. Да ещё курит без конца...

Лоскутова натянуто засмеялась в ответ.

Дверь отворилась, и на пороге показалась Аكوпова:

– Сюда никто не заходил? К нам проник посторонний! Высокий такой, в чёрной куртке. Буркнул, что к мастеру ему нужно, и сразу рванул мимо меня. Я заподозрила неладное, вышла из ателье, закрыла снаружи входную дверь и прошла через магазин. Уже минут пять, как он где-то в ателье. Наверно, надо милицию вызвать.

Лоскутова с волнением взглянула на Чермных:

– У нас, кажется, происшествие...

Чермных усмехнулся:

– Нужен вышибала? Что ж, могу потрянуть стариной...

– Я только сейчас вспомнила, что дверь своего кабинета не закрыла, когда меня срочно позвали в цех, а оттуда я сразу сюда. В кабинете у меня верхняя одежда и золотые часы со сломанным браслетом, которые я собиралась отдать в мастерскую. Пойду посмотрю...

Лоскутова порывисто встала из-за стола, и следом за ней, грузно опираясь о столешницу, поднялся Чермных. Но она положила ему руку на плечо, удерживая на месте:

– Без вас разберутся. Наверно, просто какой-то пьяный. Или хахаль какой-то портнихи. Нужно только закрыть дверь в кабинет.

– А если он не только пьяный, но и буйный?

– Мы, женщины, легче их успокаиваем. А у мужиков сразу мордобой...

– Ну, смотри...

Лоскутова поспешно вышла. Было слышно, как в коридоре дробно застучали её каблучки.

Прошло ещё несколько минут, и в закройную снова заглянула Аكوпова, объявила звенящим от волнения голосом:

– Незнакомец сейчас в фойе! Ему так просто не выбраться! Лишь бы не разбил витрину! Давайте все туда!

Из-за спины Акуповой, из коридора, послышался нарастающий шум голосов. Чермных и Шарков вскочили, бросились в коридор. За ними высыпали остальные. Теперь крики доносились из фойе, и все устремились туда. Сквозь толпу женщин Шарков сразу не разглядел незнакомого высокого парня, почти прижатого к стеклу витрины, тревожно озиравшегося, как затравленный зверь. В его глазах застыло потрясение, но расслабленный, вялый рот, казалось, слегка улыбался, как это бывает у истериков после приступа. Шаркову почудилось даже, что молодой человек дрожит. Подбадривая друг друга криками, бабы всё теснее надвигались на незнакомца. Тут же рядом оказался почему-то и Михалин, которого не видно было ни на собрании, ни за столом в закройной. Наверно, он заходил к одному из арендаторов, а показаться Лоскутовой на глаза не посмел.

Шарков ухватил общее в облике Михалина и незнакомого парня: оба рослые и вместе с тем жалкие. «А парень совсем зелёный», – мелькнуло в его сознании. – «И не похож на блатного. Такого бабы запросто могут побить».

О том же, наверно, подумал и Чермных, который раздвинул толпу и вплотную подошёл к парню, заслонив его от женщин.

– Дать ему по шее! – требовали злые женские голоса. – И пусть вывернет карманы! Пусть покажет, что взял! Нечего косить под него или дурачка!

Чермных негромко приказал парню:

– Ну-ка, показывай, что у тебя в карманах...

Тот послушно выгреб из кармана своей куртки женские золотые часы и молча протянул их Чермных. В толпе ахнули и взволнованно закричали:

– Это он украл! Лилия Витальевна, посмотрите, это ваши? Да где же она? Где Лилия Витальевна? Её здесь нет! У себя в кабинете она, что ли? Не случилось ли что с ней?

– Кто-то побежал искать Лоскутову. Через минуту из коридора донёсся истошный бабий крик:

– Лилия Витальевна убита!

Парня с понурой головой, спрятавшего глаза от яростных взглядов толпы и яркого света люминесцентных ламп, развернуло точно пружиной навстречу устремлённым на него взорам. Негромко, но с отчаянной решимостью, заклиная каждого взглядом своих карих глаз, он проговорил:

– Я не убивал. Слышите? Не убивал!

К нему подскочил рыжий арендатор Шаев, вывернул все его карманы, нашёл нож и не сдержался: широко размахнувшись, сильно ударил его кулаком по лицу. Удар оказался хрястким, хорошо слышным, как показалось Шаркову, даже на другом конце фойе. Парня швырнуло на витрину, однако он не разбил её закалённое стекло и удержался на ногах. Шаев с досадой обернулся к толпе:

– Ну чего вы ждёте? Вызывайте милицию!

4

Уже через неделю после гибели Лоскутовой «Надежда» развалилась. Чермных нового директора назначать не стал. Протомившись несколько дней без дела, все женщины согласились на предложение, переданное из конторы Чермных Ларисой Крохмаль: написать заявле-

ния о расчёте, чтобы наверняка и поскорее получить свою задержанную за два-три месяца зарплату. Вместе со всеми рассчитался и Шарков. Он вернулся к занятию, которым промышлял раньше, – к частному извозу. Это был плохой, ненадёжный заработок, но выбирать не приходилось.

Однажды в разъездах по городу, притормозив перед светофором на перекрёстке в центре города, Шарков машинально бросил взгляд на тротуар и заметил неторопливо шагнувшего Дмитрия Каморина, своего бывшего соседа, которого давно не встречал. Несмотря на шестнадцать лет разницы в возрасте, они когда-то раза три ходили вместе на рыбалку и с тех пор сохраняли дружеские чувства. Почему-то (может быть, оттого, что у него было скверно на душе) Шарков поспешно опустил стекло и негромко позвал:

– Диман!

Каморин недоуменно пошарил взглядом вокруг себя. Отчуждённое удивление сменилось на его лице застенчиво-радостной улыбкой, когда он разглядел и узнал Шаркова.

– Константин! А я думал: ты всё ещё в Норильске!

– Да я уже семь лет, как вернулся! Садись, подвезу!

– Как же раньше нам не пришлось встретиться?

– Да вот так. Выходит: Ордатов – не такой уж и маленький городишко.

Каморин послушно сел в машину рядом с Шарковым, растерянно, с любопытством всматриваясь в старшего товарища, которого когда-то, будучи пацаном, обожал. Затем, после нескольких мгновений изучения пристальным взглядом, выдал из себя короткий, сухой смешок, точно поперхнулся:

– Ха-ха! Вот странно: точно вчера ещё мы жили в одном подъезде! Увидел тебя и почувствовал: все пережитое и нажитое – шелуха, а по сути каким я был пацаном, таким и остался.

– Наверно, ближе к концу жизни это впечатление от нашей встречи будет ещё разительнее...

– Ты кем сейчас?

– Частный извозчик после того, как моя швейная фирма закрылась. Энергетиком не устроишься, а жить надо. А ты?

– А я по своей исторической специальности – в музее.

– Ха-ха! Работёнка, небось, – не бей лежачего. Куда тебе?

– Домой, по старому адресу – на Семашко.

– Не женился?

– Нет.

– Ну и дурак, – со спокойной, грубоватой фамильярностью заключил Шарков. – Всё нужно делать вовремя. А ты, наверно, всё мечтаешь о прекрасной даме...

– Я считаю нечестным и нелепым заводить семью, детей, то есть приводить в мир и ставить в зависимость от себя других людей, когда ещё не уяснил, для чего живу сам.

– Да? В самом деле так сложно? А я думал, ты повзрослел. Тебе навредило то, что ты не был в армии. Иначе смотрел бы на вещи проще. Женятся для удовольствия, а дети – необходимое приложение к нему. Стоит два года пожить в казарме, среди двух сотен молодых, постоянно голодных, мучимых вожделием, раздражённых скотов, для того, чтобы понять: человек – всего лишь двуногое животное, которому важнее всего пожрать, спариться и поспать.

– Ты сам не веришь в то, что говоришь, – сказал Каморин смущённо, чуть запальчиво. – Гедонистический идеал недостижим...

– Ну ты и чудак! – ухмыльнулся Шарков. – Причём здесь какой-то идеал, тем более гедонистический? Об этом позволительно говорить юнцам, а уж к тридцати-то годам пора понять, что жизнь может быть просто более или менее сносной. Ещё Пушкин сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». В наших силах лишь сделать жизнь немного более приятной и разумной. Или ты считаешь это узким эгоизмом? Но посуди сам, как это странно получается:

я, «эгоист», пекусь о благе дочки и жены, а ты, со всеми своими «идеалами», – только о своём собственном!

– Да не в идеалах дело, а в сомнениях: нужно ли заводить семью и детей, когда и самому тяжело, неуютно живётся на свете? К тому же и та девушка, которую я люблю, всё не решается выйти за меня, нищего музейщика, а других мне не надо... – признался Каморин смущённо.

– Да, жизнь на самом деле страшна, – вдруг согласился Шарков, помрачнев. – Как раз на днях нечто совсем кошмарное произошло в том самом «богоугодном заведении», где я работал. «Надежда» не просто крахнула – там убили директрису Лоскутову, которую я возил. Причём убили сразу после выкупа помещения ателье в собственность руководимого ею товарищества. Ударили ей в сердце чем-то острым.

– Да что ты! – удивился Каморин. – Такие страсти в жалком заведении!

– Сначала все решили, что убил вор, который в тот вечер залез в ателье, как раз во время застолья по случаю выкупа помещения. Но оказалось, что убита она каким-то особым орудием, заточкой или шилом, а не тем ножом, который нашли у грабителя. Что самое ужасное, подзреть в убийстве Лоскутовой можно каждого, потому что её ненавидели все. Ну или почти все, мне-то не за что было её ненавидеть: я не член товарищества и платила она мне аккуратно. А вот все бабы в ателье были на нее злы, потому что она много задолжала им по зарплате, да к тому же разоряла товарищество, где за каждой из старых работниц числился один процент уставного капитала. То есть она не просто недоплачивала бабам, но ещё и лишала их коллективной собственности и рабочих мест. Как раз в час убийства весь коллектив был в сборе, плюс арендаторы и владелец «Надежды» Чермных. У него тоже мог быть зуб на Лоскутову, потому что на собрании она вдруг стала артачиться, то ли притворно, то ли всерьёз. Она же играла роль заступницы коллектива, будто бы защищала «Надежду» от Чермных. В общем, всё было запутанно, потому что женщины склонны к отношениям любви-ненависти. Бабы в ателье одновременно ненавидели и обожали свою директрису.

– Ручаюсь, что не только они, но и ты восхищался этой змеей подколодной! Чувствую это по жару, с которым ты говоришь о ней!

– Как странно, что тебе пришёл в голову именно этот образ! Да, в ней на самом деле было что-то змеиное и вдобавок что-то от Клеопатры, любительницы змей: гибкая фигура, черные подведённые глаза, струящийся шёлк платья... Что-то театральное... И вот что любопытно, во время своего последнего застолья Лоскутова публично призналась в том, что ателье для неё, как театр. То есть она разыгрывала спектакль! И я тогда сразу подумал, что в «Надежде» события действительно развивались по тщательно продуманному и жестокому сценарию! Понимаешь, «Надежда» – это было не просто ателье, а товарищество с ограниченной ответственностью, созданное на базе филиала швейной фабрики, с правом льготного выкупа своего помещения – тысячи с лишним квадратных метров на первом этаже жилой девятиэтажки. Там за каждой старой работницей был закреплён один процент уставного капитала. И вот как всё хитро провернули: по идее, льготу дали трудовому коллективу ради его процветания, но фактически воспользовался ею оборотистый делец Чермных, который помещение присвоил, а работниц разогнал. И во всём этом Лоскутова сыграла ключевую роль, себе на погибель...

– Что ж, история в наше время довольно обычная... – вздохнул Каморин. – Впрочем, не только в наше время. И подобные спектакли разыгрывают не только в таких заведениях, как «Надежда». Я тоже не раз думал о том, что каждый или почти каждый вокруг нас – актёр, лицедей. Разве не все, с кем сводит нас жизнь, играют, мучаясь, какие-то роли? Где ещё столько мифов и показухи, как в России?

– Это ты о чём?

– Да о том, что кругом ложь и показуха. И не оттого ли, что люди не умеют здесь жить разумно и радостно, просто для себя и своих близких? Это при том, что в глубине души каж-

дый, конечно, хотел бы жить в своё удовольствие. Но здесь так нельзя, не положено, не дадут. Наш народ испокон веков стремится обрести смысл своего существования, воплощая странные грёзы: то утвердить православный «Третий Рим», то построить на зависть и в пример всему миру «общество социальной справедливости». Люди вживаются в придуманные для них роли и привычно жертвуют собой ради химер, покорствуя своим начальникам и вождям. А эти начальники и вожди – всегда самые способные лицедеи, и именно потому они становятся кумирами толпы! И почти все они всё-таки стараются получше устроиться не в будущей, а в нынешней, земной жизни. При этом они так хорошо играют роли заботливых пастырей для пасомых! Так мастерски подчиняют своему обаянию множество людей! Видимо, Лоскутова тоже была волчицей в овечьей шкуре. Пусть совершенно неизвестные за пределами своего круга, такие люди наделены недюжинными актёрскими способностями и свои роли играют очень старательно и убедительно. Какие артистические дарования сокрыты во множестве неведомых миру офисов и контор!

– Узнаю историка, – усмехнулся Шарков. – Такие глубокомысленные обобщения! Впрочем, ещё в одной мелочи ты прав: у Лоскутовой бранным словом для её портних было «овца». Стало быть, саму себя она сознавала противоположностью – волчицей.

За окном показалась нестройная россыпь панельных девятиэтажек в окружении приземистых хрущоб. Каморин встрепенулся:

– Вот и улица Семашко. Я приехал...

Шарков простился со старым приятелем холодно. Он тотчас подосадовал на себя за это, но сознавал, что иначе просто не мог. Ну разве позволительно в нынешнее жестокое время быть таким инфантильным чудаком, как этот Каморин?..

...Каморин бросил беглый взгляд в сторону родной девятиэтажки, что возвышалась в двухстах метрах от него, полускрытая зыбкой паутиной нагих тополей, и помедлил в раздумье. Нежданная встреча нарушила его планы. Собственно, сейчас ему совсем не нужно было домой. Отнюдь. Всего лишь час назад он отправился в сторону центра с намерением подольше побродить по городу, пользуясь хорошей погодой. Длительные прогулки были для него средством успокаивать нервы и доставлять себе моцион, столь полезный для предотвращения сердечных и иных недугов, заменяя модный бег трусцой. Поездка вместе со старым другом, отказаться от которой было неудобно, прервала воскресное странствие слишком рано. Домой не хотелось. Куда теперь? Ну конечно же, в библиотеку! Это полчаса быстрого пешего хода в одну сторону, затем столько же обратно. Читательский билет лежал, как всегда, в кармане, так что заходить домой было незачем. Приняв решение, Каморин зашагал протоптанной в снегу тропкой, вившейся змейкой по склону большого пологого оврага, который отделял его район от центральной части города. Несмотря на то, что этим путём он ежедневно ходил на работу и возвращался с неё, вновь преодолевать те же несколько километров полупустынного пешего маршрута было ему не в тягость. Напротив, время, которое он затрачивал на это, всегда казалось ему едва ли не самой приятной частью дня.

Оттого, что ночью подморозило, а наутро выпал снег, Каморин физически чувствовал себя бодрее обычного. Он давно заметил, что зимние оттепели и летние дожди обычно вызывают у него сонливость, разбитость, а мороз и ясное небо, напротив, освежают, настраивают на радостное мировосприятие. Видимо, это как-то связано с изменениями атмосферного давления, считал он. В тот день, несмотря на чувствительный морозец, к полудню так распогодилось, что казалось, будто уже пришёл март. Яркое солнце розово подсвечивало пушистый иней на ветвях деревьев, свежий снежок звучно поскрипывал под ногами. Каморин с удовольствием давил хрупкий ледок лужиц, оставшихся от последней оттепели, и рассеянно думал о том, что март уже не за горами, что вслед за календарной весной скоро наступит настоящая тёплая пора, и это будет чем-то вроде чудесного перемещения в совсем иной мир, ласковый,

благодатный, совершенно непохожий на зимний. Почему-то с самого раннего своего возраста он привык с нетерпением ждать лета...

Каморин усмехнулся, вдруг осознав странность своих радужных мечтаний: ну что же особенно отрадного ожидает его летом? Разве что отпуск, в котором на скудные отпускные не разгуляешься. На море дорого, а ездить на городской пляж, что на противоположном берегу Волги, утомительно. Обычно в самые жаркие летние дни, когда неудержимо манило к воде, он отправлялся на дикий пляж, на заросшую камышами илистую отмель и окунался в мутный, зеленоватый поток, по соседству с неунывающими пацанами. Летний отпуск был хорош, пожалуй, лишь как отдушина в однообразном лабиринте будней, как глоток иллюзорной свободы – не более того.

Впрочем, свою работу Каморин любил. В тягость были только сотрудники, которые в большинстве своём принадлежали к женскому полу. Ему казалось, что в них нет ни проблеска настоящего интереса к своему делу, ни малейшего намека на вдохновение краеведческого поиска – только унылое, чиновное, вынужденное исполнение должностных обязанностей. И при этом столько недоброжелательного, завистливого, придирчивого внимания с их стороны к тому, что делает он, такая склонность к злословию! Каморин считал, что относится к своей работе совершенно иначе. Даже проводить обзорные экскурсии по музею – то, что было для других научных сотрудников чем-то вроде тягостной барщины, – ему нравилось. За десять лет ему не приелось, оставалось постоянно как бы внове удовольствие удивлять посетителей музейными раритетами. А также всё, что было связано с этим: неторопливый обход витрин во главе послушной толпы, лоск старательно натёртого паркета, гулкие отголоски под высокими сводами его заученно-плавной речи, неостывающее волнение от сознания, что столько людей внимает ему и покорно следует за ним, с почтительным удивлением, а порой и восхищением на лицах... До сих все эти впечатления сладко пьянили его, как вино. Оттого он всякий раз безропотно соглашался исполнять в выходные дни обязанности дежурного по музею и проводить экскурсии, когда не хватало штатных экскурсоводов.

Ему не была в тягость даже самая непривлекательная для других обязанность дежурного – сдача музея на попечение вневедомственной охраны. Каждый сотрудник слышал передаваемые из уст в уста предания, дошедшие от прежних поколений музейщиков, о том, что когда-то некий злоумышленник прошёл в музей как обычный посетитель, спрятался в укромный закуток, а ночью вышел оттуда и сделал своё чёрное дело. Дежурным жутко было вспоминать об этом, совершая, как полагалось по инструкции, обход огромного пустого здания перед уходом и включением охранной сигнализации. Представлялась очень реальной опасность оказаться вдруг один на один с преступником! Женщины-дежурные нередко просили кого-то из сослуживцев остаться вместе с ними. Каморин на такие просьбы всегда откликался, с тем большей охотой, если они исходили от молодых сотрудниц, а сам высказывать их стеснялся, хотя и ему было не по себе бродить одному в гулкой пустоте старого здания.

В полумраке слабо освещённых залов, где в целях экономии почти все лампы гасили сразу после прекращения основного потока посетителей, по всем углам мерещились подозрительные тени, а полинявшие мундиры, бурки и косоворотки местных героев начинали казаться некими таинственными, одушевлёнными сущностями, живущими сами по себе и, чего доброго, готовыми вот-вот шевельнуться, сняться с места, снова обретя в себе некую сверхъестественную силу, как всадники без головы. И так многозначительно, грозно, иначе, чем в присутствии экскурсантов и при сиянии всех люминесцентных ламп, тускло отсвечивала сталь клинков и маузеров! И даже хрупкая красота старинного фарфора и блестящих безделушек из древних курганов не радовала, но тревожила в этот час: а что, если из-за них спустя миг огреет тебя по темени притаившийся злоумышленник? Ведь так просто недосмотреть старенькой смотрительнице...

Но была для Каморина в музейном вечернем дозоре и приятная сторона: будоражащее, щекочущее нервы чувство опасности и радостное сознание своей способности преодолеть страх. Особенно, когда его рука сжимала специально прихваченную железяку, какую-нибудь зазубренную саблю времен первой мировой с потрескавшейся деревянной рукояткой или ржавый ствол винтовки без приклада – из той рухляди, что ребячьи частенько приносила в музей и которая накапливалась в кладовочке возле рабочей комнаты научных сотрудников (поскольку нужно было провести научное описание собранных древностей для сдачи их в музейные запасы, «фонды», да и неохотно брали хранители ребячьи находки на свое попечение: такого добра было у них уже предостаточно). От прикосновения к старому, разбитому оружию рождалась иллюзия безопасности, горделивая уверенность в том, что он сможет постоять за себя. И еще это было сродни игре, увлекательному возвращению в детство... Как и многое иное в музейной работе...

Каморин и самому себе не смог бы толком объяснить, почему он, любя свою профессию музейщика, стеснялся её, не мог вполне серьёзно относиться к ней. Копаться в черепках, разбирать древние тексты, вдыхать аромат ушедших эпох – всё это было уж слишком увлекательно, настолько, что походило больше на забаву, чем на серьёзное занятие. Тем более, что и платили за музейную службу не как за настоящую работу. Сознать шаткость своего материального положения, до сих пор чувствовать себя «юношей, подбитым ветром», было тем горше, что перед глазами были примеры совсем иного рода: многие одноклассники освоили уважаемые профессии, прилично зарабатывали, кое-кто стал бизнесменом, почти у всех давно уже есть дети. А его заработка едва хватает на собственное одинокое, скудное прозябание. И ради чего подвергает он себя лишениям, отдавая свои лучшие годы музейной службе? Неужели по отношению к ней уместно высокопарное слово «призвание»? Ну, интересно, ну, легко – и только. Может быть, настоящая работа – это та, к которой применимы слова Писания: «В поте лица добывай хлеб свой»...

В попытке как бы оправдаться перед самим собой Каморин взялся за изучение древнейших периодов истории индоевропейцев на основе данных лингвистики. Эта тема на самом деле увлекала его, прежде всего одной идеей, которая казалась очень поэтичной и величественной: если наименования степеней родства, простейших орудий труда, утвари, некоторых рано вошедших в обиход человека растений и животных звучат почти одинаково на языках разных народов от Индии до Ирландии – значит, был некогда единый индоевропейский пранарод, прообраз счастливого будущего человечества, когда оно «распри позабыв, в единую семью соединится», по слову поэта.

Каморин с живым интересом изучал пыльные фолианты по лингвистике и археологии. Казалось, это так просто: соотнести археологические находки с лингвистическими данными и доказать, что племена какой-нибудь ямной или трипольской культуры, известные до сих пор только по немым, грубым предметам, раскопанным в древних могилах, – это на самом деле арии, частью мигрировавшие на Индостан, частью ставшие предками славян и других европейских народов. Ведь изначальный пласт индоевропейских языков, общий для большинства из них, отражает тот же самый примитивный уровень материальной культуры, о котором свидетельствуют предметы, найденные в земле, в слоях, относящихся к пятому и четвертому тысячелетиям до нашей эры.

Его волновало явно не случайное созвучие слов, означающих в разных языках одно и то же, например русское «мотыга», английское «mattock» и кельтское «mattoc» или русское «иго», латинское «jugum», древне-шведское «uk», готское «juk» и древне-исландское «ok». Мерещилась возможность вывести отсюда какие-то глубокие, неожиданные для других умозаключения, сделать прорыв в исторической науке. Хотя что ещё могло это означать, кроме очевидного: что существовало культурное и языковое единство Европы в пору освоения земледелия?

Основательно изучив литературу, он испытал горькое разочарование: оказывается, американка литовского происхождения Мария Гимбутас ещё в середине двадцатого века соединила данные археологии и лингвистики и разработала курганную теорию. Она пришла к выводу о том, что ямная культура, существовавшая в четвертом тысячелетии до нашей эры на огромной территории от Днестра до Урала, была создана праиндоевропейцами в пору их единства. Эту теорию признало большинство специалистов во всём мире, кроме СССР, где были популярны совсем другие теории. Вот почему студентом Каморин ничего не слышал об этом и чуть было не взялся за изобретение «велосипеда».

Но разве нельзя и ему сказать своё слово в исторической науке? Разве нет в индоевропейской проблематике чего-то ещё достаточно очевидного, но до сих пор ускользавшего от внимания историков? Может быть, попытаться соотнести находки в курганах и обозначающие их древние слова с понятиями из глубинного пласта духовной культуры индоевропейцев? Не удастся ли таким образом заставить заговорить, рассказать о своём сокровенном давно сгинувшие племена, от которых остались лишь черепки, кости и малочисленные медные и бронзовые предметы?

Уже какие-то догадки брезжили в его сознании. По всей видимости, ко времени овладения мотыгой индоевропейцы сформировали и первые представления о мистическом. И священное представлялось им прежде всего удивительным, сверхъестественным. Недаром, славянское «диво» созвучно санскритскому *deva-h*, древне-иранскому дэв и таджикскому див в значении «бог». Но в современных европейских языках нет слов с корнем «див» или «дэв» в значении «бог», если не считать латышского *Dievs* – «Бог», итальянского *diva* – «божественная», зато во многих языках есть *devil*, «дьявол». Примечательно и авестийское *daeva* – «злой дух».

Не свидетельствуют ли эти парадоксальные, даже кощунственные лингвистические параллели о культовом перевороте, пережитом древними индоевропейцами, об их отказе от почитания прежнего божества? Отвергнутое, оно стало владыкой потустороннего мира, преисподней. И произошло это до прихода арийцев на Индостан и до распада славяно-скифской общности, потому что славянское «бог» неслучайно, конечно, созвучно древне-персидскому *bağa* с тем же значением, а славянское «святое» – несомненно, того же происхождения, что и авестийское *spanta*. Сварог, главный бог русско-славянской мифологии, назван, очевидно, арийцами: *svargas* на санскрите означает «небо».

Но довольно скоро Каморин испытал еще одно разочарование. После нелегкого розыска по словарям и монографиям трёх-четырёх десятков лингвистических параллелей в разных географически отдалённых друг от друга индоевропейских языках для него проступила общая закономерность: совпадения чрезвычайно часты в случае со словами, обозначающими родственные отношения, довольно много их и среди выражений, описывающих явления природы, состояния вещества (тёплое, холодное, твёрдое, тёмное и прочее), представителей животного и растительного мира зоны умеренного климата и предметов материальной культуры эпохи освоения производящего хозяйства, но они редки в сфере духовной культуры и социальных отношений, за исключением явных случаев поздних заимствований.

Постепенно у Каморина возникли подозрения, еретические с точки зрения лингвистической науки: а может, праиндоевропейского языка никогда и не было? Ведь для языка нужен его носитель – народ, а историческая наука по мере погружения в прошлое всё меньше обнаруживает в нём крупных народов и всё больше – мелких, раздробленных племен. Известно, например, что летописец Нестор, автор «Повести временных лет», ещё помнил о полянах, северянах, древлянах, кривичах и прочих племенах, из которых сложилась древнерусская народность. А вот о том, что это были, по мнению современных историков, не племена, а союзы племён, названия которых были забыты задолго до Нестора, тот, конечно, не знал.

Может быть, для общения кочевников из разных племён во время их случайных встреч на огромных, пустынных просторах Евразии и сложился, где-то на рубеже каменного и бронзового веков, не язык, а только общепринятый обиходный жаргон из сотни наиболее употребительных слов как дополнение к племенным говорам? Ведь для малых, родственных коллективов важно было избегать кровосмешения, и потому, конечно, их членам браки нужно было заключать где-то на стороне. Наверно, прежде всего ради этого и вступали в общение между собой, случайно встречаясь в дальних кочевьях, чуждые друг другу племена. И при этом договаривались с помощью «интернационального» набора терминов, наиболее употребительных при межплеменных контактах. Не оттого ли в языках, считающихся индоевропейскими, наиболее хорошо сохранившуюся общую основу составляют слова, обозначающие степени родства? Причем среди соответствующих языковых параллелей имеются не только такие широко известные, как «мать», «mother», «mutter» и так далее, но и ещё более удивительные, мало кому ведомые совпадения, как русское «зять» и авестийское «zamatar», русское «свекровь» и древне-индийское «svasura», русское «деверь» и древне-индийское «devar»...

Мало-помалу Каморин уяснил, что для изысканий по проблемам индоевропеистики требуется изучение огромного количества литературы, изданной преимущественно на Западе и практически недоступной ему, провинциалу, не имеющему средств и времени для поездок в Москву и чтения нужных текстов в научных библиотеках. Да и пустили бы его туда? К тому же он владеет, и то плохо, лишь одним иностранным языком... Не слишком ли он слаб для конкуренции в привлекательной для него области научного поиска? Ведь исследования прошлого праиндоевропейцев на стыке двух наук, археологии и лингвистики, со времени появления работ Марии Гимбутас перестали быть целиной, и за прошедшую половину века на этом поле потрудились многие...

В душу Каморина все чаще закрадывалось сомнение: то ли он делает, что следует? Не нужно ли ему жить какой-то иной жизнью, более приземлённой, разумной и счастливой? И не лучше ли найти другую девушку, менее интеллигентную, может быть, чем его Ирина, но зато более ценящую простые семейные радости?

... Знакомством с Ириной Шестаковой Каморин был обязан своей музейной службе. Ирина работала в ту пору воспитателем в женском общежитии трикотажной фабрики и проводила для своих подопечных коллективные посещения кино, музеев и театров. Как ни странно, она удержалась на этой работе и в постсоветскую эпоху. В отличие от некоторых других предприятий города трикотажная фабрика после «перестройки» не остановила производство, хотя в девяносто втором пережила трудный период, когда зарплата выдавалась работницам собственной продукцией – так называемыми чулочно-носочными изделиями. И в последующие годы платили хотя и деньгами, но по-прежнему скудно. Былой двухтысячный коллектив сократился более чем наполовину: ушли все, кто только мог. Остались те, кому просто некуда было уходить: женщины предпенсионного возраста да приехавшие из деревень девушки, большей частью не первой молодости, уж слишком, до безнадёжности засидевшиеся в невестах в чужом, неприветливом городе (где, как и повсюду в России, женихи с квартирами обходили стороной насельниц общежитий). С этими несчастными и работала Ирина.

Каморину тогда сразу показалась необычной группа, которую привела Ирина. В будний день, в малолюдное утреннее время странно смотрелась в музее тихая стайка женщин, молодых и не очень: они были одеты что-то уж очень скромно, даже бедно и держались робко, скованно, резко отличаясь от обычных коллективных посетителей – беспечных, оживлённых клиентов туристических фирм. Была в облике этих фабричных работниц некая потаённая горечь, этакая молчаливая сиротская печаль обитателей казённого дома. Они стеснительно жались друг к другу, их лица выражали отчуждённую покорность школьниц, готовых выслушать даже что-то уж очень далёкое от их повседневных забот, вроде лекции о технологии производства серной кислоты.

Каморину захотелось устроить праздник для бедных золушек. Он решил выложиться на все сто процентов, как если бы имел дело с большой, важной группой экскурсантов, вроде участников регионального совещания банкиров или глав местных администраций. Обзорная полуторачасовая экскурсия была им не только проговорена полностью, но ещё и дополнена кое-чем новым, отчасти рискованным, пока не апробированным методистами. Его голос звучал под высокими сводами гулко, торжественно.

Музейные смотрительницы наблюдали за Камориным удивлённо, некоторые – с улыбками. А женщины из общежития казались одновременно и польщёнными, и смущёнными оказанным им вниманием. На лице Ирины читалось сомнение: неужели только ради них экскурсовод проявил такое рвение? Не часть ли это некоего показательного мероприятия? Но из сумрака коридоров не выглядывали строгие члены какой-нибудь комиссии, не выпархивали корреспонденты с камерами и микрофонами. Так что уже в конце концов не оставалось сомнений в вольном, приватном характере усердия Каморина.

Желая вознаградить экскурсовода, девушки звучно шептались:

– Ирина Васильевна, как интересно!

– Сколько он знает!

– Как хорошо рассказывает!

Ирина с любопытством присматривалась к Каморину. Сначала он показался ей довольно жалок в своем тесном костюмчике, с порозовевшими от волнения щеками, с напряжённым, по-мальчишески срывающимся голосом. К тому же – экскурсовод! Мужчина на такой работе – в этом было что-то неожиданное, неподобающее, даже стыдное. Но вскоре её захватила его речь, довольно красноречивая и горячая (даже не в меру патетичная и громкая – отметила она), и она уже начала переживать за него, опасаясь, что он вдруг собьётся, потеряется, осрамится. Ведь в качестве экскурсовода он, конечно, ещё очень зелен, неопытен и оттого так явно волнуется... Однако он продолжал говорить всё более уверенно, умело, и постепенно беспокойство за него, не исчезнув совсем, перешло в любование им, как ребенком, из-за которого пришлось поволноваться и чей успех воспринимается теперь как собственный.

– Молодец, молодец, так держать, – мысленно повторяла она.

Затем Ирина вдруг посмотрела на Каморина по-новому, взглядом молодой женщины на молодого мужчину, заинтересованным, строгим и всё же готовым обмануться, обольститься: фигура не без склонности к полноте, совсем не атлетическая, а в чертах, несколько мелковатых, замечалось нечто французское, по-девичьи миловидное. И всё-таки не без внутреннего сопротивления она отдала себе отчёт в том, что Каморин нравится ей. А между тем он, очевидно, был очень далёк до её идеала – сильного, уверенного в себе мужчины, занятого каким-то истинно мужским делом. «Горячий, искренний, не очень умный и при этом, наверно, добрый, но, конечно же, эгоистичный, слабохарактерный и ... чувственный», – так интуитивно она определила его.

Ещё года два назад подобный невзрачный, жантильный молодой человек произвел бы на Ирину впечатление скорее отрицательное: ну что это за мужчина-барышня – фи! Но ей было уже двадцать семь, и всё чаще приходили к ней жуткие, мертвящие приступы бессильного отчаяния: время идёт, а по-прежнему рядом с ней нет спутника жизни... Почему? Неужели она чем-то хуже других? Так важно было лишний раз убедиться в том, что это не так, прочитав интерес к себе во взгляде вот хотя бы такого не слишком завидного кавалера...

Ирина не смогла бы объяснить, почему по окончании экскурсии вдруг спросила Каморина о древних развалинах у реки: правда ли, что когда-то там был монастырь, как рассказывают старожилы? Может быть, она сделала это лишь из желания выказать интерес к изысканиям краеведов, к предмету забот этого бледного и нервного экскурсовода, дабы слегка поощрить его за нешуточное рвение. И ещё, наверно, был в этом робкий, осторожный шагок к флирту. Хотя она, конечно, никогда не призналась бы себе в том, что на самом деле предпри-

няла попытку завязать знакомство с музейным работником. Тем более, что особенно надеяться на это, конечно, не приходилось: чего можно было ожидать от музейного книжного червя, кроме сухой справки: да, на самом деле существовала на том месте в такие-то века монашеская обитель?..

Услышав вопрос, бойко произнесённый так понравившейся ему миловидной девушкой с золотистыми волосами, Каморин на мгновение растерялся. Что он знает о развалинах у реки? О них в одобренных методическим советом и добросовестно заученных текстах экскурсий не было ни слова. А сам он краеведческих изысканий в этом направлении не проводил. Тем более, что по характеру интересов не был краеведом. Его привлекали несравненно более глубокие горизонты прошлого, чем те, которыми он должен был заниматься в качестве научного сотрудника отдела новейшей истории. На его месте легко выкрутился бы самый обычный враль, особенно из породы прирождённых говорунов, способных с апломбом выступать перед публикой с речами на любую тему. Но Каморин к этой категории не принадлежал. А просто сказать «не знаю» и на этом закончить общение с дотошной посетительницей казалось непозволительно, стыдно: все-таки краеведение – его хлеб. И в сумятице застигнутых врасплох мыслей и чувств Каморин произнёс неожиданные для себя слова:

– Это не моя тема, я к ней не готовился, но обязательно всё выясню и расскажу вам. Давайте встретимся в субботу...

И тотчас он осознал, что такое предложение должно выглядеть как неловкое приглашение к чему-то сомнительному, к какому-то легкомысленному приключению. Именно так это и восприняла Ирина, сразу смутившаяся. Но тут вмешались её подопечные:

– Вы расскажете нам в музее или на месте, возле развалин?

– Наверно, лучше на месте – это будет как экскурсия.

– Ну так давайте, давайте! Это же интересно! – сразу хором выразили живейшее согласие девушки. Все предвкушали приятное времяпрепровождение, что-то вроде пикника, и почти каждая втайне надеялась в итоге покороче познакомиться с молодым экскурсоводом.

Лишь Ирина испытывала сомнения и потому сочла необходимым уточнить:

– За новую экскурсию нужно будет платить?

– Ну что вы, это я для себя, а не для музея. Мне самому интересно разобраться, что это за руины. В субботу в одиннадцать утра – не слишком рано?

– Нормально! Отлично! – дружно согласились девушки, одарив Каморина улыбками. А ему бросилась в глаза и запомнилась только робкая, задумчивая улыбка Ирины. Так захотелось увидеть её снова, встретить благодарный взгляд этой хорошенькой, строгой девушки с точёной фигуркой. Он сразу выделил её в толпе спутниц, простоватых, грубоватых на вид, уважительно называвших её Ириной Васильевной. Он догадался о том, что она работает воспитателем в общежитии, и пожалел о том, что не познакомился с ней раньше, в минувшие годы, когда его нередко приглашали в общежития читать в красных уголках лекции по краеведению. В сущности, как он понимал, Ирина Васильевна была массовиком-затейником. До сих пор на подобных должностях ему попадались зрелые, бойкие дамы, и он мысленно пожалел ещё довольно юную и явно скромную, даже, пожалуй, застенчивую девушку: «Бедняжка, не смогла после пединститута устроиться в школу, и теперь ей несладко с хамоватыми, выпивающими бабами».

До конца дня Каморин взволнованно думал о Ирине Васильевне, о том, что его всегда привлекали именно такие девушки – хрупкие, нежные, мечтательные, немного не от мира сего. Он вспоминал о том, что во время экскурсии она украдкой посматривала на него и казалась живо заинтересованной им или, может быть, только его рассказом. Особенно понравилась и запомнилась ему лукавая полуулыбка, порой вдруг точно освещающая её маленькое лицо. Тогда она, с её изящным, чуть вздёрнутым носиком и золотистыми, пышными волосами, казалась похожей на молодую лисичку, одновременно хитрую и простодушную. Хотя улыбка свидетельствовала, конечно, о том, что какие-то иные мысли, не связанные с темой его рассказа,

занимали её воображение. Наверно, она решила, что усердие экскурсовода порождено амурными устремлениями...

Пикантным контрастом золотистым волосам Ирины казались её темные брови. Впрочем, присмотревшись, Каморин разглядел, что темны и основания её волос. Крашенная блондинка! Обычно ему не нравились подобные косметические ухищрения, как и вообще всё ненатуральное, однако на сей раз это маленькое открытие не сделало Ирину менее привлекательной в его глазах. Осознав это, Каморин впервые подумал о том, что, пожалуй, влюбился.

Однако на следующий день радостное возбуждение Каморина исчезло, сменившись досадой. Он уже с тягостными сомнениями думал о том, что «клюнул» на каких-то девиц из общежития, что теперь ему надо готовиться к самостоятельной «экскурсии», тащиться в выходной день на пустырь с руинами вместо того, чтобы посидеть дома с книгой, что наверняка он при этом будет выглядеть странно и глупо и что в музее на такое неформальное общение с посетителями посмотрят косо, если узнают. Не лучше ли позвонить в общежитие и отменить экскурсию? Однако он не сделал этого, потому что какое-то смутные, грешные надежды всё ещё кружили ему голову. Все-таки в свои тридцать два года он отнюдь не был пресыщен простыми радостями жизни – нет, они скорее только предвкушались...

В то памятное воскресенье с утра было пасмурно и ветрено. Небо, серое, чуть с просинью, как плёс в непогоду, грозило дождем. С тяжёлым сердцем Каморин направился к руинам, не слишком рассчитывая кого-то встретить там перед несомненным ненастьем. И такой исход сомнительного приключения представлялся ему теперь не самым худшим.

По пути и на самом деле несколько раз начинало моросить, но редкие капельки скоро иссыкали, так что асфальт оставался сухим. Уже почти не надеясь на встречу с девушками, Каморин сначала и вправду никого не заметил возле руин – нестройного нагромождения камней цвета загустевшей камеди. И лишь спустя несколько мгновений он с удивлением разглядел под сводом полуразрушенного портика Ирину и двух её спутниц. Всего три девушки – это совсем не походило на привычную группу экскурсантов. Но самое главное, здесь была Ирина. Каморин радостно осознал, что такой узкий круг слушательниц наиболее подходит для душевного, интимного общения. Но только сначала надо как-то растопить лёд первоначальной неловкости, скованности, отчуждения.

– Что же вас так мало? – спросил он, стараясь, чтобы голос его звучал весело и мужественно. – А я-то думал, что придут все...

– Кого-то недосчитались? – бойко, с улыбкой, спросила невысокая смуглянка в цветастом сарафане. – А вы бы сразу сказали: особенно жду такую-то!

Её спутницы засмеялись, не исключая и Ирины.

– Просто веселее, когда больше народу. Особенно, если все невесты. Ведь я и сам холостой, между прочим. Ну что, готовы? Начинаем экскурсию?

– Начинайте! – хором отозвались девушки.

Каморин заговорил несколько путано. Ему хотелось захватить воображение девушек красочным рассказом, но исходный исторический материал оказался не слишком благодарен. Здешняя обитель, так называемая Карпинская пустынь, возникла не в столь уж древние времена, всего лишь в семнадцатом веке, была совсем небольшой, населённой не более чем тридцатью монахами, и затем сравнительно скоро, при Екатерине Великой, в пору общей секуляризации монастырских владений и сокращения числа монастырей, прекратила существование. После этого каменное здание монастырского храма во имя Успения Богородицы было превращено в обычную приходскую церковь городского предместья, впоследствии разорённую большевиками и окончательно разрушенную в войну. Никакие памятные события, имеющие отношение к этим руинам, в краеведческой литературе не упоминались. Так что собственно о монастыре рассказывать было почти нечего. Оставалось только вести разговор «по поводу»: об общей исторической обстановке времени возникновения и существования обители, архи-

тектурном стиле памятника и кое-каких событиях истории края, хотя бы сомнительно и отдалённо связанных с монастырем или храмом.

Сначала Каморин вкратце рассказал о незамысловатой архитектуре храма. Тот был архаичен даже в семнадцатом веке, представляя собой так называемый «восьмерик на четверике», то есть сочетание четырехгранного основания с восьмигранной верхней частью, когда-то увенчанной куполом. Затем пришлось обратиться к истории. Мысль Каморина неловко блуждала в потёмках семнадцатого и восемнадцатого веков, выискивая все сколько-нибудь уместные события и фигуры. Были упомянуты, большей частью некстати, тишайший царь Алексей Михайлович, петровские преобразования, суровая Анна Иоанновна с её «ледяным домом», несчастный младенец Иван Антонович, весёлая Елисавет и могучая духом, любвеобильная телом матушка Екатерина Великая.

Рыжая девушка с кудряшками напряжённо хмурила лобик, изображая старательную школьницу, и смотрела прямо в рот Каморину: особа экскурсовода явно занимала её больше развалин... Смуглянка скромно держалась чуть в стороне, но зато так много огня вспыхивало время от времени в быстрых взглядах её черных глаз, затенённых длинными ресницами! В отличие от спутниц Ирина казалась холодной, недовольной, скучающей. Она внимала Каморину с безразличной покорностью виновницы неудачной затеи, безропотно готовой «расхлёбывать кашу». Накануне она плохо спала и оттого была не в духе. К тому же её несколько не занимали ни вопрос о том, почему в эпоху барокко архаичный старорусский стиль храма сохранился здесь, на окраине Московии, ни все иные краеведческие проблемы. Ей не нравилось то, что развалины были захламлены разбитыми бутылками, обрывками газет и грязными тряпками, что нечастые прохожие с ближайшей улицы Подольской посматривали в их сторону с неодобрительным, цепким любопытством, что две (всего-навсего!) её девочки откровенно кокетничали с экскурсоводом.

Мало-помалу в душе Ирины начало закипать раздражение. Неужели музейный работник не понимает, что нелепо и стыдно крутиться петушком перед тремя девицами и корчить из себя учёного умника на этих неприглядных руинах, где грязно, мокро и небезопасно?! Чтобы наказать Каморина, Ирина принялась пристально всматриваться в него. Так ещё в школе она порой смущала, вгоняла в краску стыда иного неловкого, глупого мальчишку-одноклассника, вперив в его лицо свои карие, наивно распахнутые, безмятежно-спокойные, нахальные и невинные очи. Что, взор мой будоражит тебя, сбивает с толку? Так тебе и надо!

Однако такое бесцеремонное разглядывание в упор отнюдь не смутило Каморина: он решил, что подчёркнуто-сдержанная поначалу воспитательница просто захотела пококетничать. Это лишь придало ему уверенности и подстегнуло его усердие. Его голос обрел привычный «экскурсионный», горловой, торжественный тембр, и ещё более велеречиво он стал произносить подготовленный текст, неспешно перемещаясь среди невысоких руин из красного кирпича (цвета молотого перца, как со злостью определила Ирина). Волей-неволей ей вместе со своими девушками приходилось следовать за Камориным. Обойдя руины кругом, они вышли к жидкой рощице из клёнов, ив и бересклета, тронутых ржавчиной увядания. Здесь возле монастырских стен теснилось несколько замшелых каменных плит и блоков, вросших в землю, – очевидно, остаток древнего кладбища, едва уцелевший под напором окружающих огородов и усадеб. Ирина машинально нагнулась к серой гранитной глыбе и провела пальцем по её зернистой поверхности. Из-под слоя жирной на ощупь пыли и лоскутьев паутины проступила славянская вязь. Невнятные древние слова, рельефно высеченные на камне, явились как нечто до странности не от мира сего, неожиданное в этот серый, невзрачный денек, среди покоя совсем сельского на вид предместья, на задах картофельных грядок.

Ирина не заметила Каморина, подошедшего к ней. Быстрым движением ладони он смахнул пыль с поверхности памятника. Показался восьмиконечный крест с надписью в несколько строк. Медленно, чуть запинаясь, Каморин прочёл: «Полковник Павел Феодорович Болхови-

тинов, родился 1743 года декабря в 6 день, умер 1791 года генваря в 23 день». Каморин помолчал, смакуя всегда острое для него удовольствие от прикосновения к тайне давно прошедшей жизни. Испытанное при этом волнение ему захотелось скрыть насмешкой, и он добавил:

– «Господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир». Что, впечатляет? Ведь столько эпох протекло над этим камнем!

Ирине не понравился насмешливый тон Каморина. В это хмурое воскресное утро, впуская потраченное на ничённое мероприятие, возле заброшенной могилы, у стен разрушенного храма, ей вдруг захотелось плакать. И под это отчаянное настроение она ответила с неожиданной для себя откровенностью:

– Могильные надписи всегда впечатляют, древние они или новые – всё равно. Дата рождения, дата смерти, и между ними – вся жизнь, такая всегда на удивление короткая, когда её можно сосчитать до единого дня.

– А знаете, мне тоже приходила в голову эта мысль, – волнуясь и по-новому, с удивлением, вглядываясь в Ирину, заговорил Каморин. – И ещё я думал о том, что отвлечённо мы знаем, что когда-нибудь умрём, но только не чувствуем этого и даже в глубине души не верим в это. Жизнь, если продолжительность её не определена слишком явно тяжкой болезнью или дряхлостью, кажется неопределённо долгой и, в сущности, бесконечной. Хотя бы двадцать лет впереди, которые уверенно отмерит себе почти каждый, представляются баснословно-длительным сроком, границы которого теряются, растворяются в туманной дали, и ты чувствуешь себя бессмертным. А в надписи на могиле подведена черта. За датой рождения, с которой когда-то связывалось столько надежд и радостей и которая так нелепа и никому не нужна на старом, заброшенном памятнике, сразу следует дата смерти. Прожитая жизнь измерена с аптечной точностью, наглядно подведен итог всех перенесённых мук и затраченных усилий: тлен и забвение. И человеческое существование кажется не более значительным, чем эфемерное существование бабочки.

– Но ведь это невозможно принять, с этим невозможно примириться... – вполголоса отозвалась Ирина.

– Вы о бессмертии души, что ли?

– А почему бы и нет?

– Ну что ж, сейчас все веруют или, по крайней мере, раз в год заглядывают в храм. А я для себя не решил. В храмах я испытываю томительную скуку. В православии, в его обрядах меня отвращает что-то внешнее, формальное, холодное, почти официальное. Всё-таки не зря до революции церковью управлял синод, в который попадали по назначению императора. Это было духовное ведомство, контролируемое обер-прокурором. И что-то казённое, чиновное осталось там с тех пор... Разве вы будете ждать утешения от священника, в котором вы привыкли видеть только исполнителя платных треб? Зачем, если его ответ заранее известен: нужно смириться, молиться, поставить свечку?..

– А я не верю в то, что какой-то мыслящий человек в глубине души всегда, последовательно отрицает Бога. Это невозможно.

– Я не отрицаю, меня только мучают сомнения, – тихо признался Каморин и при этом, взглянув на молоденьких спутниц Ирины, уловил их удивлённые, смущённые взгляды и отдал себе отчет в том, что разговор стал слишком странен для них. – Впрочем, об этом лучше поговорить в другое время, в другом месте...

Когда все вместе возвращались в город, Ирина казалась чем-то озабоченной, а девушки из общежития – разочарованными. Каморину хотелось договориться с Ириной о новой встрече, но он постеснялся предпринять такую попытку при её спутницах и решил, что позже позвонит ей в общежитие. Неожиданно пошёл наконец дождь, сначала редкими каплями, затем всё сильнее, превратившись вскоре в накрывшую всё плотную пелену. На всю компанию оказалось только два зонта: у Ирины и у одной из её спутниц. Ирина великодушно предложила

Каморину укрыться вместе с ней под её зонтом, и тот согласился, одновременно смущённый и обрадованный. Девушки из общежития заторопились с возвращением пешком кратчайшим, незнакомым Каморину путём через предместье, а ему и Ирине надо было попасть на троллейбусную остановку. В пути Каморин с наслаждением вдыхал пряный, влажный запах волос Ирины, заглядывал в её серые, чуть навывкате глаза, то и дело касался плечом её маленькой, твердой груди и чувствовал себя необыкновенно счастливым. Хотя при этом его не оставляло ни на миг мучительное беспокойство из-за возможности совершить какой-то промах и разрушить то зыбкое, неосязаемое, что, казалось, соединило их.

К тому времени, когда они добрались до павильона остановки, у Каморина насквозь промокло левое плечо, и он от этого начал зябнуть, Ирина тоже казалась замёрзшей, напряженно сжавшейся. Но зато они успели поговорить и познакомиться по-настоящему. Каморин узнал, что Ирина любит, как ни странно, поэзию Маяковского и не любит фильмы ужасов, что она училась в педагогическом институте и имеет диплом учителя русского языка и литературы. Отработав по распределению положенный срок в селе, она вернулась в город и после неудачных попыток трудоустроиться в школе поступила на должность воспитателя общежития. Ещё Каморин узнал о том, что Ирина – единственная дочь у своей матери. Ее родители, инженеры по специальности, давно разведены. Отец уехал в Воронеж и живёт там с новой семьёй, оставив двухкомнатную квартиру в Ордатове дочери и бывшей жене. Свою работу в общежитии Ирина, конечно же, не любит и при первой возможности постарается перейти в школу...

В последующие дни Каморин на правах знакомого несколько раз звонил Ирине, заглядывал к ней в общежитие и даже прочёл там в красном уголке лекцию «Наши знаменитые земляки». Так начался роман Каморина с Ириной – первый серьёзный роман за всю его жизнь.

Ирина приняла ухаживания Каморина спокойно, сдержанно и даже, как ему казалось, рассудочно. Хотя они довольно скоро стали любовниками, её истинные чувства к нему и после этого остались для него тайной. Ни разу в её словах он не услышал и намёка на то, что она любит его. Несомненным было только то, что ей была приятна его мальчишеская пылкость. Порой в ответ на его ласку или нежное слово она могла вдруг вся просиять радостью, но уже через несколько минут становилась обычной – всё такой же спокойной и чуть насмешливой, как всегда. Иногда она делалась недоступно-замкнутой, напряжённой, взвинченной, и тогда он напрасно ломал голову о том, что с ней: совсем разлюбила его, переживает неприятности на работе или какую-то особенно тягостную фазу женского цикла? Ему хватало трезвости для понимания того, что её редкие вспышки радости в общении с ним могли быть проявлениями удовлетворённого самолюбия: ведь он во всём уступал ей... Часто с тяжёлым недоумением он задумывался над вопросом: любит ли она его на самом деле? Спросить её об этом прямо он не решался из чувства неловкости и ясного представления о том, что на такой вопрос Ирина непременно ответит уклончивыми, ничего не говорящими словами или шуткой.

Ирина и самой себе не смогла бы дать ответ на вопрос о том, любит ли она Каморина. Он действительно ей нравился, более того, был необходим, однако разве не потому только, – порой спрашивала она себя, – что был простым, милым парнем и неплохим любовником? Мечтая о любви, она ждала совсем иного. Ей всегда казалось, что настоящее чувство должно проявиться как-то очень ярко, перевернуть её душу, преобразить все её существо, придать её жизни необыкновенную полноту и счастье. Ничего подобного не доставляли ей отношения с довольно привлекательным в её глазах, приятным и лёгким в общении, но явно посредственным Камориным. Даже её школьная любовь была пережита куда более сильно и страстно. А ведь предметом её был всего-навсего мальчик-одноклассник, довольно, впрочем, рослый и красивый, из благополучной семьи. В своём воображении она щедро наделяла его необыкновенными достоинствами, долго обдумывала каждый его взгляд, брошенный в её сторону, каждое его слово. Самым потрясающим переживанием всех её школьных лет осталось прикосновение его рук, когда однажды он, смеясь, будто ненароком прижал её к стене в раздевалке.

Это полудетское увлечение было тем мучительнее, что оказалось безответным. Из-за робости она за всё время обменялась со своим возлюбленным лишь немногими незначущими фразами, но тот, конечно, замечал, как при встрече с ним вспыхивали жарким румянцем её щеки и загорались любовью её глаза. И с тем большим удовольствием флиртовал в её присутствии сразу с несколькими одноклассницами, особами смазливыми и не по годам бойкими, тоже добивавшимися его внимания. А она целых полгода лелеяла в душе отчаянную идею о самоубийстве, захваченная безумной мечтой: он после её смерти поймёт, как сильно она его любила, и пожалеет о несбывшемся... В ту пору часто, стоя на остановке, она испытывала желание шагнуть наперерез потоку машин, прямо под колеса! И только к весне выпускного года это томительное и горькое умопомрачение начало мало-помалу отступать, рассеиваться. Хотя ещё на первых курсах института она вздыхала порой о красавчике Игоре. Это продолжалось до тех пор, пока новые институтские подруги не убедили её в том, что в её возрасте быть мечтательницей, недотрогой – вредно для здоровья, несовременно, нелепо и просто позорно.

Первым мужчиной в её жизни оказался студент её же института, который был всего лишь на два курса старше, но уже имел репутацию опытного повесы. Первая близость показалась ей похожей на медицинскую процедуру, доставив, вместе с болью, смешанное чувство разочарования, стыда и брезгливости. Но вместе с тем было разбужено её любопытство: что же такое на самом деле физическая сторона любви, с которой связано столько многозначительных умолчаний, намёков и запретных, страшных слов? Почему об одном и том же говорится то как о райском блаженстве, то как о чем-то чрезвычайно гадком, греховном и пагубном? Неужели только для того, чтобы завуалировать ужасную, унижительную для человека незначительность того, стремиться к чему заставляет его природа: краткое, судорожное соприкосновение влажными, дурно пахнущими частями мужской и женской плоти, которые, точно в насмешку, являются ещё и органами выделения?

Она продолжила свои опыты и скоро почувствовала, что в ней проснулась женщина, что ей открылась радостная, раскрепощающая суть физической любви. После этого она легко сходилась с мужчинами, движимая отчасти юным, бунтарским стремлением к самоутверждению в качестве вполне взрослой через прикосновение к тайному, запретному. Её манили также горячий, иступлённый морок и наслаждение плотской страсти. Но вместе с тем из этих опытов она вынесла и печальный урок: сладострастное забытьё со случайным мужчиной непременно окажется лишь мимолётным удовольствием и вскоре обернётся взаимным чувством отчуждённости, недоверия. Ей захотелось остановить свой выбор на ком-то одном, кто станет для неё своим, близким, родным. При этом ей казалось не обязательным вступать в брак – одно это слово отталкивало и страшило её, означая что-то очень серьёзное, налагающее слишком большую ответственность, на что можно пойти только по любви или уже в немалом возрасте, от безысходности. Пока ей казалось достаточным иметь прочную связь с мужчиной, способным быть не просто любовником, а надёжным другом – тем, кому можно рассказать о своих бедах, у кого можно попросить совета, кто наверняка будет с ней и через месяц, и через год.

Именно в это время ей подвернулся Каморин, и уже два года она встречалась только с ним. Интеллигентный, мягкий, он как будто идеально подходил на роль любовника. Но вот представить его в качестве своего мужа она была не в состоянии. Он казался ей ещё не вполне мужчиной, ещё скорее только юношей, обаятельным и ненадёжным. Окидывая его критическим взглядом, она вздыхала: ну какой из него муж? Ни серьёзной профессии, ни положения, ни приличного заработка. Более того: ни малейшей перспективы на обретение надёжного места в жизни. Ну как с таким создавать семью?.. И потому, уже приближаясь к порогу тридцатилетия, она снова и снова отклоняла предложения Каморина о вступлении в законный брак. Она всё медлила с этим самым важным для женщины решением, словно всё чего-то или кого-то ожидая, хотя никого на примете у неё не было. Доводы Каморина о том, что пора бы им определиться, она отметала внешне шутя, а в глубине души с безотчётным, смутным страхом

и раздражением. Как если бы какой-то внутренний голос упорно шептал ей: «Остерегись! Не надо этого!»

При этом ей и в голову не приходило затеять любовную игру с кем-то другим, чтобы найти замену Каморину или просто разнообразить свою жизнь. И это не столько из-за моральных запретов, никогда не значивших для неё слишком много, сколько из-за врожденной душевной брезгливости, заставлявшей с отвращением отстранять даже мысль о возможности её связи одновременно с двумя мужчинами. Тем более, что давно уже было решено: сходитьсь с кем-то другим надо только по достаточно веским основаниям. Довольно с неё торопливых, неопрятных и стыдных «опытов» в студенческие годы!

Для себя самой у Ирины была своего рода отговорка: раз уж всё равно за поиском мужчины прошли лучшие годы, а Каморин, привязан, видимо, крепко, можно ещё потянуть с окончательным решением. Ещё год-другой, а там уж, так и быть, выходить за него. Она отдавала себе отчёт в том, что с такой тактикой есть риск упустить «синицу в руке», но это её не пугало. Порой она сама себе удивлялась: почему её, в отличие от всех баб, не слишком манит семейная жизнь? Может быть, с ней что-то не в порядке? Ведь не в одних недостатках Каморина дело: она по опыту знала, что он всё же лучше многих. К тому же ни в кого иного она влюблена не была. Вообще после первой молодости ей никого не удалось полюбить по-настоящему. Даже обычная для мечтательниц тайная, безнадёжная влюбленность в какого-нибудь артиста или иного заведомо столь же недоступного мужчину никогда не посещала её

А для Каморина лучше Ирины никого не было. Он просто запрещал себе сравнивать её с кем-то. До Ирины у него было только несколько женщин, в основном развязных, легкодоступных однокурсниц, бравировавших свободой своего поведения. Он так и не постиг: как можно после происшедшей близости, этого окончательного, отчаянного, предельно-откровенного самораскрытия и стирания всех мыслимых границ между двумя существами, делать вид, что ничего особенного не произошло, и при следующих встречах лишь небрежно кивать друг другу и обмениваться немногими незначущими словами, как если бы вчерашних любовников связывало только самое обычное знакомство? Пожалуй, он предложил бы руку и сердце любой из этих девиц, не будь у него ясного понимания того, что подобной «жертвы» от него никто не ждёт, что он будет не только отвергнут, но и презрительно осмеян. К тому же в близости с женщиной ему нужен был не только физический, но и душевный контакт. И именно в Ирине он впервые обрёл не просто любовницу, а родного человека – настолько, что порой она казалась ему кем-то вроде сестры.

Явная опытность Ирины не сделала её для Каморина менее желанной. Напротив, этим она приобрела в его глазах дополнительно к другим своим достоинствам ещё и очарование зрелой, умудрённой женщины. Оттого порой, особенно когда нужно было подчиниться её желаниям, ему легче было представить её себе старшей сестрой или даже матерью, тем охотнее уступая ей. И при всем этом, как ни странно, он постоянно, зорко, жадно выискивал и находил в её облике и поведении нечто от неопытной, наивной, беззащитной девочки. И как любил он её именно за эти казавшиеся полудетскими, девическими черты и манеры! Вместе с тем он всегда был внутренне убеждён в том, что Ирина лучше него сделает самый разумный для них обоих выбор. Это помогло ему пережить разочарование, самое горькое в истории их отношений: когда Ирина сказала, что беременна от него, но выходить замуж и рожать не будет, добавив, в ответ на немое отчаяние в его взоре, очень спокойно, с лёгкой улыбкой:

– Мы пока слишком мало знаем друг друга. Надо подождать.

Внешне он смирился с её решением и часто, особенно в выходные, проводимые вместе, чувствовал себя вполне счастливым. Но в будни, по вечерам он частенько тосковал оттого, что её нет рядом, что невозможно после дня суеты и нервотрёпки на работе просто прижаться к ней, чтобы ощутить: он не один. Порой в нём вскипал гнев: выходит, он всё ещё недостаточно хорош для неё и потому она оставляет для себя шанс найти кого-то другого! Тогда, мстительно

думал он, и ему надо искать другую! Однако ничего или почти ничего не делал для этого. Ведь по-настоящему он не чувствовал себя униженным: разве может быть унижение в подчинении себя любимой? Просто иногда ему ужасно не хватало родного тепла и запаха её тела, её голоса, в котором он уже научился, кажется, распознавать все оттенки настроения, внимательного взгляда её серых глаз, таких порой мечтательных, задумчивых, а чаще насмешливых. Но зато при каждой встрече в выходные появлялось восхитительное ощущение новизны и праздника, маленького чуда. Их роман длился уже два года, и в последнее время Каморину всё чаще казалось, что его отношения с Ириной стали прочными и надёжными, почти супружескими. Хотя каждый раз, прощаясь с ней до новых выходных, он остро тосковал, точно расставался навсегда, и чувствовал, что в душе его что-то умирает.

Может быть, оттого, что и на работе, и в отношениях с Ириной у него было не слишком благополучно, Каморин и загорелся желанием стать учёным. Хоть в чем-то преуспеть! Но выбрал для этого не проторенный путь, через поступление в аспирантуру, а вольные штудии, прекрасно понимая, что это, скорее всего, ни к чему его не приведёт. Внешне жизнь его текла размеренно и гладко, а внутренне он чувствовал себя потерянным, живущим как бы по инерции, без смысла и цели. И всё чаще ему вспоминались знаменитые слова:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я оказался в сумрачном лесу...

Его мучило чувство усугубляющегося неблагополучия, надвигающейся беды. Время протекало, как песок сквозь пальцы, и за нынешнее расточительство наверняка придётся заплатить. Ему уже четвёртый десяток, а ни в чём в его жизни нет ничего прочного, менее всего – в его музейной службе. Ох, недолго ещё ему чахнуть Кашеем над одними и теми же не бог весть какими впечатляющими раритетами и повторять на экскурсиях одни и те же заученные тексты! Как бы ни хотел этого, не получится, не дадут. А всё потому, что с первых шагов в музее он недооценил самую реальную для него угрозу – склоки и подсиживания, неизбежные в маленьком, преимущественно женском коллективе. Особенно по отношению к нему, не умеющему скрыть свою нелюбовь к служилым стервам – этому повсеместно распространённому типу современных дам, озабоченных карьерой и заработком. Особы хваткие, бойкие, в погоне за успехом способные на многое, они казались ему и не вполне женщинами, а скорее некими бесполоми существами, коварно присвоившими некоторые наружные признаки женского пола.

Хотя он побаивался сотрудниц и старался не задевать их, они раскусили его быстро, распознали в нём нечто непримиримо враждебное себе. Интересно, что именно? Как называют они его между собой? – думал он иногда. Энтузиастом? Идеалистом? Мальчиком-чистоплюем? Нет, вероятнее всего, придумали что-то куда более злое, ядовитое, до чего он сам сроду не додумается... Он осторожно сторонился их, стараясь ничем не навлечь на себя их гнев, а они до поры до времени относились к нему с небрежной, снисходительной благосклонностью матрон, привечающих юнца. Он долго тешил себя надеждой на то, что приобрёл в коллективе репутацию неплохого, полезного работника и что потому в своих интригах и подсиживаниях злые фурии его не тронут.

Но сейчас ему уже ясно, что самом деле музейные дамы уже давно сошлись в нелестном мнении относительно него. Во-первых, конечно же, все согласились с тем, что он нехорош собой: невысок, непредставителен, с мелковатыми чертами лица, к тому же в поведении заметно нервен и застенчив – словом, похож скорее на юношу, даже на мальчика, чем на мужчину, и потому настоящей женщине нравиться не может. Ещё было дружно решено, что по службе Каморин не продвинется, поскольку довольно недалёк, не способен чётко излагать свои мысли, во время экскурсий слишком эмоционален, «форсирует» голос, отчего говорит неестественно громко и напыщенно, так что порой даже неловко и неприятно бывает его слушать. Разве что ближе к пенсии, в награду за многолетнюю преданность музею, его могли бы произ-

вести из младших научных сотрудников в старшие. Но и то лишь при условии безупречного выполнения своих обязанностей и чёткого соблюдения важнейшего служебного требования: знать своё место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.